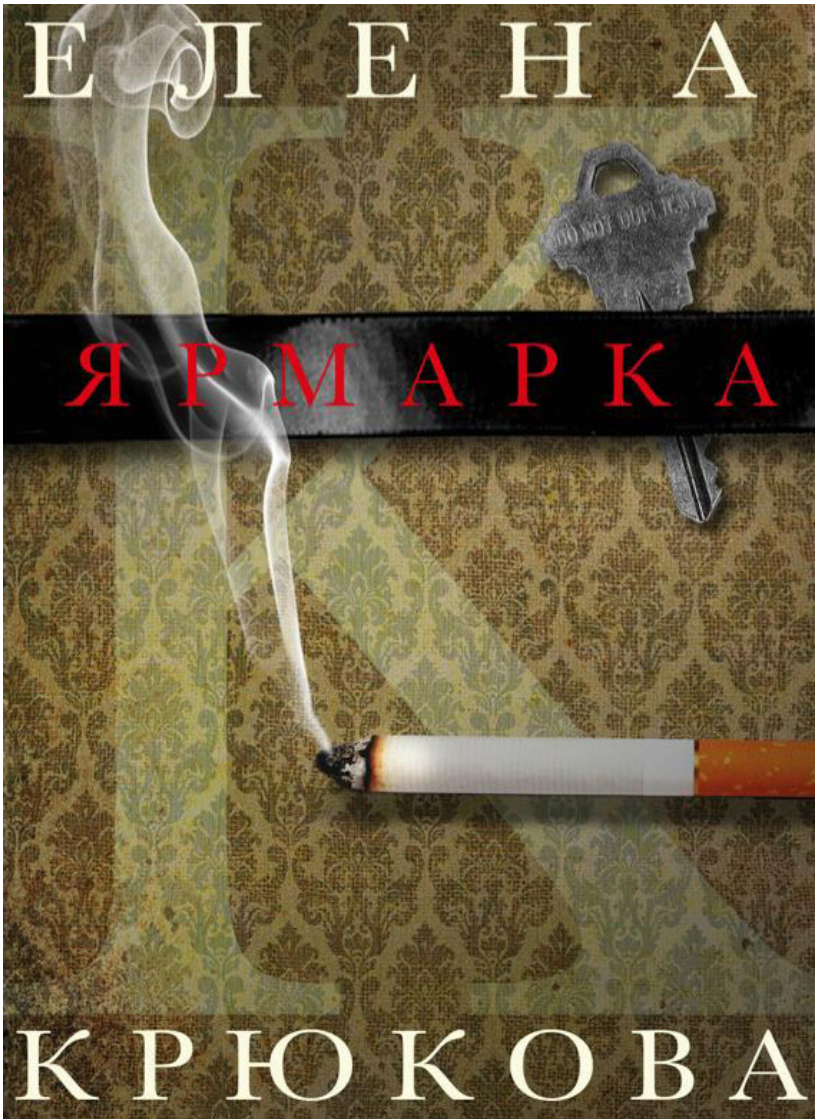


Е Л Е Н А

Я Р М А Р К А

К Р Ю К О В А



# Елена Николаевна Крюкова

## Ярмарка

*Текст предоставлен правообладателем*

*Ярмарка: 2012*

*ISBN 978-1-300-59882-4*

### Аннотация

Роман Елены Крюковой «Ярмарка» – жесткий, хлесткий, яркий портрет современной России. Мария Васильевна Строганова, в прошлом учительница, ныне – дворник. Ее сын Петр. Революционер Степан Татарин. Нищий художник Федор Михайлов. Четыре живых копыя, на которых напряженно держится суровая ткань книги.

Гламурная дива, наглая и блестящая Аглая Стаднюк, по прозвищу – Золотая – резкий и страшный контраст миру нынешних русских отверженных. Аглая и Мария все-таки встречаются: последняя нищенка и первая богачка сталкиваются на железнодорожном вокзале.

Школа, суд, рынок, поликлиника, кремлевские башни и проходные дворы; армия, банк, милиция; изолгавшаяся власть, с губернатором во главе, тюрьма, мрачные зимние дома, залитые золотым медом фонарей – вот она, фреска абсолютно любого города России.

Но на этой фреске – летящая фигура женщины, Марии; ее жест – раскинутые руки – для объятия, для любви. Она не утратила ее в пожаре ненависти.

Обреченно повторяются революции. Тошнотворен глянец.  
Вечно всепрощение любящего сердца.

# Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	57
Конец ознакомительного фрагмента.	99

# Елена Крюкова

## Ярмарка

© 2012 Елена Крюкова.

\* \* \*

*Отверженным моей Родины*

# Глава первая

«А которой человекъ купить какова нибудь товару болши своихъ товарныхъ денегъ, и съ того товару имать по тому жъ, съ рубля по алтыну. А которые люди привезутъ хлебъ продавати, и съ техъ людей имати за меру хлеба съ московские четверти по денге, а имати померное съ продавца, а съ купца не имати, и мерити всякой хлебъ въ припускные въ печатные меры.»

*Царский указ властям Макарьева от 19 сентября 1627 года  
от Рождества Христова*

**30000 раз в день я закрываю глаза... Я ОТКРЫВАЮ  
ГЛАЗА...**

**САМЫЕ СТОЙКИЕ В МИРЕ ТЕНИ ДЛЯ ВЕК «АГ-  
ЛАЯ» –**

**в модных бутиках АГЛАИ СТАДНЮК!**

**Забудь катышки, неровности, противные комочки!**

**Ультрашелковистые – суперстойкие – великолеп-  
ные цвета**

**отлично подыгрывают твоему НАСТРОЕНИЮ!**

**АГЛАЯ СТАДНЮК улыбается только ТЕБЕ:**

**WOW! Мои ШИКАРНЫЕ тени со мной ЦЕЛЫЙ  
ДЕНЬ!**

Лом. Взять в руку. Лег в ладонь. Так. Как ледяно, мертво холодит кожу.

Сегодня минус двадцать. Стекла оконные все морозным мхом обросли.

Минус двадцать ночью, а вчера все таяло, плыло, ползло. Сегодня – лед.

Лед, это значит – лом. Вот он, в руке.

Лопата. Вот она и лопата. Жесть снизу оторвалась... надо подбить гвоздями. Хорошая лопата, деревянная, широкая. «Шире, чем мой зад. Лопата – тоже баба».

Еще – метла. Хвостатая, дрянная ведьма. Пруты выпадают, как волосы. Она тоже старая, метла, как ты. Старая ведьма. Может, ее сегодня не брать? Ведь снега ночью не было. Пес с ней. Не возьму.

Мария швырнула метлу в угол.

Разжала ладонь – осторожно лом к стене приставила.

Из комнаты, где ютился сын, серыми усами из-под двери выползал табачный дым. И свет пробивался. Но было тихо. Не говорили. Не бормотали. Не кричали. Значит, гостей не привел.

«Может, уснул со светом, не выключил. И с сигаретой. Плохо дело. Ведь уже не раз одеяло подпаливал. Пожар рядом с нами ходит. Всегда огонь рядом».

Шесть утра. Зима. Ночь. Все спят. Народ спит. Врешь, не все. Полно народу на работу встает, в автобусах, в вагонах метро, в трамваях, в электричках уже трясется. На работу спешит. Каждый к своему станку. Вот и она идет – в ночь, в мороз – к своему.

А что у нее за станок такой? А ее станок – ночная улица, скользь, снег, черный лед, и она будет его ломом колотить, высоко лом заносить, беспощадно ударять.

Со льдом и снегом бороться. Уничтожить его. Убивать.

Во имя чего?

А чтобы народец наш хорошо, ловко по земле ходил, не скользил, не падал. Еще и песочком посыплет. В ведре у нее давно заготовлен. Крупный, серый песок; сама с Волги таскала. А больше некому было. Своих мужиков, да и сына, попросить стеснялась: ведь они такие занятые все время были.

Ну, давай, Машка, жми, дави. Одевайся-обувайся. Не жмурься сонно. Представь, что ты в армии.

«Эх, а и правда, давай-ка представлю. Что делают солдаты? Портки, рубахи пелят. Черт! Засыпаю. Вода ледяная, вот оно! Сейчас проснусь!»

Мария рванула дверь ванной. У них с сыном была такая комната, бывшая кладовка; там стояла старинная, на чугунных львиных лапах, отменная, гладкая и белая внутри, как слонобая кость, ванна, живущая здесь, в этом старом каменном доме, с незапамятных, может быть, с царских времен. Над ванной нависала широкая полка, там стояли доски, рей-

ки, лежали рулоны старой бумаги и старого брезента, сумки, допотопные, никому не нужные вещи – папки, арифмометры, пишущие машинки, старые игрушки. Полка осталась от прежних жителей, и Мария сначала хотела выбросить все барахло, а потом – пожалела.

На гвоздях, грубо вбитых в стену, висели старые вытертые шубы, побитые молью пальто, куртки и дождевики.

В кладовке еще стоял старый, похожий на корявую кастрюлю унитаз, – Мария называла его: «горшок», – и старая, тоже наследство прежних жильцов, стиральная машина. Мария ею никогда не пользовалась – стирала руками.

«Водичка, водичечка, ух, холодненькая, сейчас, сейчас».

Опустила шланг в ведро. Набрала полное, с краями. Скинула, чуть не порвала, ночную сорочку. Голая встала в ванну. Присела. С трудом, с натугой подняла ведро. «Только бы не заорать. Вдруг Петя крепко заснул. Разбужу, напугаю».

Опрокинула ведро над собой, над согнутой колесом шеей, над затылком.

– А-а-а-а-а-ах-х-х-х...

Вода шумно, оглушительно лилась с нее плотной серебряной стеной. Мария света не увидела. Задохнулась.

Выпрямилась. Осторожно, боком, как краб, вылезла из ванны.

Поглядела на себя в старое, с вытертой амальгамой, маленькое зеркало: ух, гляди-ка, все тело покраснело. Вот так тебя, так, лентяйка. Чтобы дух из тебя весь вышел.

Схватила полотенце, стала растираться. Вытерлась досуха. Сон ушел – сна как не бывало.

Довольная придумкой, пошла в кухню. Кухня, смех один. Еще одна кладовочка, даже поменьше, чем ванная. Под потолком – лампа, обернутая полосками жести, такой смешной самодельный абажур, похожий на птичью клетку. «Все мы в клетке... все». У стены – дачная газовая плита на две конфорки, резиновый шланг к газовой трубе Петр сам подсоединил. Плиту им подарили. У них все денег не было купить плиту, все проедали. Она все смеялась: к лету купим! Потом: к зиме! Приходили и проходили и зима, и лето, и осень. Ничего не менялось в их жилище.

Мария, оглядевшись, стоя посреди кухоньки в ночной длинной рубашке, зажгла синий венчик газа, поставила на огонь медный прокопченный чайник. И к неизменной утвари своей она тоже привыкла. Раньше, годы назад, покупала посуду, еще деньги водились. Это когда муж у нее был, Игнат. С мужем было хорошо... спокойно. «За-му-жем. Правду говорят: за мужем – за его спиной, за грудью его... За-щи-ще-на. А теперь – беззащитна. На ветру».

Чайник зашумел. «Одевайся, дурында, время-то не идет, а бежит».

Она влезла в длинные теплые колготки. Морщась, извернувшись вся нелепо, застегнула лифчик. «У, узкий стал, собака. В грудях раздалась. И вроде не жру ничего, а толстею. Старость близко». Одевалась быстро, сосредоточенно. Гру-

бо, зло одевалась. Будто на пожар опаздывала. Свитер натянула – жесткий, колючий, овечий, прямо на голое тело, чтобы тепло было. Она не любила этих бабьих рубашечек с кружевами: ах-ах, какое изящество, сю-сю! «Сю-сю, твою мать. Давай скорей. Чайник-то уже парит».

Раз – швырнуть пакетик с заваркой в чашку. Два – плеснуть кипятка. Три – где штаны рабочие, вот они. Она туго стянула, застегнула ремень. «Вот я и сама себе мужик». Открыла холодильник маленький, вынула каравай ржаного, банку с маслом, банку с мойвой. «Ах, рыбочки мои, рыбочки, маленькие. Человечек вас сейчас съест».

Она ела мойву с черным хлебом, прихлебывала обжигающий чай, представляла себя кошкой: мяу, мяу. Лезет же какая чушь в голову.

Утерев рот рукой, шагнула к батарее. Сняла с батареи валенки, влезла ногами в их серые раструбы. А-а, вот ей и тепло. И сыта. И сын дома, спит. И сейчас часа за два она с гололедом этим поганым – управится. Ну разве не счастлива она?!

Рукавицы. Хорошие голицы, теплый мех. Руки как в огне в них. Не обманула старуха на рынке.

Дверь подъезда грохнула за ней старинным пушечным выстрелом.

По черному, зеркальному льду, в подбитых кожей валенках, едва не падая, ухватываясь руками то за ветки кустов в газонах, то за воздух, втыкая лом в лед, как лыжную пал-

ку, Мария шла на свой участок – тот, что она сегодня утром должна была почистить и привести в порядок.

Сегодня утром. И каждое утро.

Черно-синее, как синий деготь, страшное ночное небо замигало в нее всеми россыпями предрассветных звезд, диких, безмерно далеких, ледяных. Ледяные иглы, и входят под сердце. Мороз захлестнул ей начатый вдох, и Мария остановилась, передыхая. Сердце дало перебой: раз-два, а дальше сказало только: раз. И замолчало. Она старалась дышать ровно, осторожно. Биение внутри восстановилось. Ага, пошла машина. Вперед.

Почему, когда она смотрела на звезду, тоска серой петлей стягивала ей горло? По чему она тосковала? По этому свету, что за ней в ее смерть никогда не уйдет?

Раньше, в детстве, она любила звезды. Учебник астрономии читала, как сказку. В театральный бинокль на них из окна часами смотрела. И такая же, точно такая тоска сдавливала грудь, глотку. Отчего?

Потом тоска ушла вглубь, отпустила. На много лет – пока Мария выучивалась, жила с мужем, рожала детей. Пока она работала в школе, сама учила ребят. Некогда тосковать было. Уйдешь в школу к восьми утра – и притащишься домой в девять вечера, еле-еле, кляча. А утром, до работы, еще надо встать и приготовить обед, чтобы муж и дети накормлены были, на нее не ворчали.

Она снова посмотрела на звезду. Звезда, звезда, а я знаю, как тебя зовут. Ты – Марс. Красный Марс. Звезда войны ты, вот ты кто.

Слезы на морозе вытекли сразу из обеих ее глаз. Покатились по щекам.

«Вы там, на звездах. Игнат. Андриюшенька. Вам там хорошо. А мы вот здесь... страдаем».

Она подняла лом, размахнулась и изо всей силы всадила, как копьё в бок зверя, в покрытый черной толстой коркой тротуар.

Искры льда разлетелись во все стороны, попали ей в лицо, в глаза, она успела зажмуриться. Острые, хуже стекла.

И опять подняла лом. И снова ударила.

И пошла, пошла ударять, долбить, бить. Бей, бей ломом лед, старая баба, бей. Забей свою тоску. Забей свою память. Она ведь у тебя еще живая.

Муж Марии погиб на пожаре. Глупо, бесславно и героически. Шел мимо, дом горел, полыхал – пожарники матерились, огонь пеной заливали – а из окна первого этажа – вдруг – ребячий крик. Игнат и бросился. Думал – успеет, выпрыгнет. Девчонку из окна выбросил пожарникам, они поймали, а на самого балка горящая упала, придавила. Вытащили его, но не спасли. Задохнулся.

Бей, бей ломом, вот так, еще размахнись. Еще ударь.

Старшего сына машина задавила. После выпускного вече-

ра, когда, счастливый, он и танцевал в первый раз, и с девушкой поцеловался в первый раз, и в первый раз шампанское пил. Все – впервые. И смерть у него была тоже – в первый раз.

Пьяные богатые ребята на «мерседесе» мчались, сшибли Андрея, как кеглю. Головой об асфальт пацан ударился. Врачи сказали – умер мгновенно. Не мучился.

А потом, после Андрюши, и маму Мария похоронила. Мама ее от горя сгасла, как тонкая церковная свеча.

И так они остались жить на свете с Петей. Мария – и Петя. Мать – и сын.

В их куцей семье, значит, была баба, был и мужик. Все было правильно.

Мария бросила лом на дорогу. Взяла лопату. Прошмыгивали первые, редкие машины. Автобусы ползли по скользкой дороге, еще пустые. Нет, кто-то уже в них, нахохлившись, сидел, ранние пташки.

Мария загребла наколотое в лопату, приподняла, с хаком, как мужик, тяжело отбросила крошево льда и снега в придорожный сугроб. Ей уже становилось жарко. Она сбросила на тротуар куртку, осталась в свитере.

В этом старом свитере она выходила замуж. Расписывалась с Игнатом. Как давно это было! Далеко отсюда. В заснеженном сибирском городке. Белого платья у нее не было, но к волосам, тогда еще густым, Мария белый бумажный цветок прицепила.

В грубой овечьей шерсти свитера еще там и сям попадались сухие цветы, опилки, даже мертвые пчелы.

Она все сделала. Закончила, когда уже рассвет залил бело-зеленой жиденькой пахтой улицы, переулки, старые дворы. Приволокла лом и лопату домой. Хорошо, у них цокольный этаж, даже полуподвал, немного в земле сидит, как в могиле, их камора. Далекo волочь инструменты не надо.

Стала ключом в замке ковырять – ан нет, изнутри закрыто. Позвонила.

– Сынок, открой!

Шлеп-шлеп – шаги по коридору.

– Мама, это ты?

– Да!

Дверь нараспашку. Дыма табачного полна прихожая. У мальчонки раскосые, веселые глаза. Хитрые. А щеки бледные: не выспался. В прогале его комнаты – бараньи завитки дыма, тусклые призраки рюмок и окурков на столе, перевернутые стулья, скомканная бумага валяется под ногами. Так, ясно. Пил-курил-писал.

– У тебя гости? Так рано?

– Уже не рано, мама. Уже восемь. Гости не у меня, а вроде как у тебя. – Смешок сына резанул ее лезвием по уху. – На кухне найдешь.

Мария стащила рукавицы, скинула валенки, босиком прошлепала в кухню.

Да, он сидел здесь, на колченогом табурете, что вот-вот упадет, подкосятся кривые слабые ножки.

Это был и правда ее гость.

– Доброе утро, Маша.

– Доброе утро, Степа.

Кровь как под напором бросилась ей в щеки, и без того красные, потные.

Он загасил окурок в блюдце, вместо пепельницы.

«Как и не расставались. Но ведь пришел – и уйдет. Намек такой: давненько, мол, у меня не была. Приходи, значит. Приходи, уберись, сготовь, постирай».

Степан погладил ладонью бритую, лысую голову. Розовая кожа на голове слегка поблескивала, будто намазанная маслом. Такими лысыми бывают только младенчики. Что-то нежное, младенческое было в нем, несмотря на могучие плечи, твердые губы, прямой, буравящий светлый взгляд. У него были такие глаза, как бусины горного хрусталя у нее на шее на тонкой нитке – если бы он подарил ей эту низку на день рожденья!

Но подарил не он.

Другой.

– Есть будешь?

– А что есть?

– Привереда. – Мария улыбнулась. Он взял ее руку, слегка пожал. «Хочет, – подумала она. – Соскучился. И я, может быть, соскучилась. И что нашел в старой бабе?» – Все есть.

Что надо. Каша овсяная. Картошечка вчерашняя. Хлеб, масло... мойва, очень жирная, отличная. Чай. И даже кофе есть. Молотый. Немного осталось, тебе хватит. Заварю?

Он потянул ее к себе, усадил на колени.

– Машка...

Руками груди нашел. Голову на ее шею положил. И так замер.

– Ну, ну... Пусти... Петька войдет...

Он вытолкнул ее с колен со вздохом, будто в воду столкнулся: плыви.

Мария разогрела кашу, щедро наложила Степану в тарелку, масла кинула, вытряхнула из банки остатки кофе, залила кипятком; села, смотрела, как он ест. Баба всегда жадно смотрит, как мужик ест. Это природа так положила. Бог так положил.

Бог?.. Где Он, Бог...

– А ты? – спросил он с набитым ртом.

– Не хочу. Завтракала. Я уж наработалась.

– Какие эти штаны твои... – Он жевал, глотал, причмокивал вкусно, улыбался, большой, здоровый, крепкий, радостный, счастливый. – Забавные...

– Сейчас сниму. Сейчас стану женщиной.

Он ел, а она передевалась – за ветхой желтой бязевой занавеской. Всовывала ноги в туфли. Узлом завязывала пояс широкой, как подрясник, черной юбки. «Вот ведь, целый век уже хожу в этой черной, траурной вытертой юбке. Не сни-

маю. Что это? Лень пойти, купить? Деньги на жизнь экономлю? Я сына должна кормить. И еще... этих...»

Не додумала. Взбила волосы руками. Еще густые, разбросаны вокруг головы, как у опричника, еще темные, хотя уже посоленные временем. «Меня тоже время приготовило, как блюдо. Посолило, поперчило. Ешь не хочу».

Вышла к нему.

– Ух ты, ах ты! Все мы космонавты... Красотка моя кабаре...

– Какого кабаре... погорелого театра...

Улыбалась. Стояла перед ним.

Он встал, утер рот рукой, улыбался тоже. Белые, молодые зубы блестели.

Вдруг на руки ее – как схватит!

И куда-то в живот, уже огрузлый, целует, целует...

– Ну все, все... – Довольный, что сдюжил, опустил на пол. – Я ведь что так рано пришел. Я сейчас с Петькой делами займусь.

У Марии стало холодно, ледяно сердцу.

– Знаю я ваши дела.

– Знаешь – и помалкивай. Все очень серьезно, Маша. Честно. Если не мы, то кто же?

Она наклонила голову низко, низко. Видела свои мозолистые пальцы, руки в замысловатых рисунках синих вен, лежащие на черном старом бархате юбки.

– Я все понимаю...

Он шагнул к двери. Вытащил из кармана черной рубахи пачку дешевых сигарет. Зубами одну вытащил.

– Я буду у... себя. Сегодня придешь?

Он уже повернулся, шел прочь, не ждал ответа, когда она расклеила губы и сказала тихо ему в спину:

– Приду.

А кто она была такая? Да никто. «Я никто», – так и говорила она себе. Человек всегда хочет быть кем-то. А она вот не хотела. Она и учительницей не особенно хотела быть. Так, в школе из-под палки отучилась, школа ей каторгой казалась, скопищем бестолковых знаний и грубых, вечно орущих педагогов; мамочка ее упростила в педагогический сдать. Ну, сдала. Стала на занятия ходить. Втянулась. С жадностью книжки читала. Литература раскрылась перед ней огромной, жадной черной, искристой, как ночное небо, воронкой. Все сияло! Слова летели и шелестели! Мысли сверкали, переливались, как перламутр в перловице! Она училась на учителя литературы, она представляла себя перед классом, как она читает детям Лермонтова, Тютчева, и сладко замирало сердце.

Школа оказалась совсем не пирожком с повидлом в школьном буфете.

Она обернула к Марии лицо госстандарта, квадратные рожи тупых директрис-солдафенок, мерзкие сплетни в учительской, оскорбления инспекторов. Мария попробовала ра-

боту на вкус – и тут же сломала зуб.

После того, как она прочитала всему классу никогда не стоявшего в школьной программе, смелого и опасно умного писателя, ее вызвали в районный отдел народного образования. И били ее там словами, исхлестали всю. Она ушла оттуда вся красная, как оплеванная. Дома долго плакала. «Значит, из них... из них кто-то донес!» – билась она на груди у мужа. «Ты поумнеть должна после этого», – тяжело, скупое изронил муж – и замолчал.

И она поумнела.

Она барабанила детям все по учебнику. Никакой отсбятины. Никакой жизни. Выучить от сих до сих. Этот образ – близок к народу, этот образ – далек от народа. Она чувствовала себя на уроке, будто бы ее пустым стаканом накрыли. И она говорит, а – беззвучно, голоса не слышать. Она стала училкой параграфов. Училкой одинаковых, как яйца из инкубатора, сочинений. Она сама писала такие сочинения, заказные, противно-гладкие, втихаря продавала их из-под полы родителям – для контрольных, дипломов, выпускных работ. Она научилась торговать штампом. И успешно, тихо торговала им. Это было лучше, чем торговать валенками с грузовиков. Муж зарабатывал, она зарабатывала. Жили хорошо.

В школе, где Мария трудилась, после уроков главный бухгалтер, разбитная крашеная бабенка с алмазиками в ушах, собирала компанию, у себя в кабинете, украшенном бездар-

ным портретом президента; выпивали, закусывали. Мария приучилась выпивать. Это ей понравилось.

Нет, она не спилась. Она еще держала себя в руках.

Но уже могла выпить хорошо, крепко, как мужик.

Ей казалось – она домой идет, не шатается. Но она шаталась.

Идет, поземка, алмазный снег, трамваев нет, последний ушел, баба домой ползет, крепко подвыпила, погуляла, и завтра рано вставать.

Всегда, всегда рано вставать.

Воскресенья тоже не было. В воскресенье она работала – проверяла тетради.

И еще, для денег, устроилась дворником в их районе.

А потом погиб Игнат. А потом погиб Андриюшенька. А потом умерла мама.

А потом она ушла из школы.

И у нее остались только лом, метла и лопата.

## 2

Мария открыла дверь квартиры Степана своим ключом. Вошла. Степана нет. Хламу! Что делать сразу? Убираться. Щетка плясала в ее руках. Тряпку она держала, как щуку

за жабры.

Грохот стоял в квартире от ее уборки.

Наконец она закончила потеть и пыхтеть, бросила тряпку, вымыла грязное ведро.

Комната, прихожая и кухня дышали влагой. Хотя бы пыль убила.

Она успела помыть руки и умыться, когда в замке затрещал ключ.

– Степушка!

– Ну вот, – выдохнул он, обнимая ее крепко, – во-о-о-от...

Уже успела...

– Да, успела, – гордо сказала Мария. – А вот обед – не успела.

– Хрен с ним, с обедом.

– Нет, не хрен. Я сейчас! Ты пока...

Она поцеловала его, смущаясь. Каждый раз она смущалась его молодости. «Малолетнего совратила», – думала о себе то ли с отвращением, то ли с гордостью. Он оторвался от нее, розовый от удовольствия.

«А может, просто по улице шел, разругался».

Под ее руками из ее сумки появлялась еда, летали крышки кастрюль и сковородок. Запахло жареной картошкой, потом жареным мясом.

– Мужик должен мясом питаться! – крикнула Мария из кухни.

Степан встал на пороге кухни, поедая Марию веселыми

глазами.

– А баба чем?

– Лепестками роз! – Мария смеялась во весь рот.

Масло брызгало во все стороны со сковородки.

– Уменьши огонь, сожжешь, – сказал Степан, шагнул к плите и выключил газ.

Его руки сошлись в крепкое, железное кольцо у нее на спине, под лопатками.

К кровати он нес ее на руках.

– Ты надорвешься, – шептала Мария.

– Ну, надорвусь.

Опустив ее на кровать, нависнув над ней, он глядел на нее сверху вниз.

Что он нашел в этой женщине, еще не старухе, но уже похоронившей яркую и свежую молодость, в этой огрузлой бабе, соседней дворничихе?

То, чего у него не было ни с кем и никогда.

Это была его тайна, и только его.

И она была, может, отнюдь не тайной их праздничных, ярких и жадных объятий.

У него были женщины, и много женщин. Иные были лучше, забавнее и изощреннее Марии в постели.

Но она...

Степан глядел на Марию сверху вниз, и она потрогала кончиками пальцев его счастливую улыбку.

– Я счастлив с тобой, – сказал он.

Мария закинула шею, он поцеловал ее в шею – и стал поочередно целовать под грубой шерстяной кофтой ее ключицы, ее грудь, ее живот. Она оттолкнула его голову руками и засмеялась. Ее одежду они снимали вместе, и, когда Мария осталась голой, беззащитной, она шепнула Степану на ухо:

– Ты выключил мясо?

И он обнял ее так сильно, так нежно, как только мог. Вклеился в нее.

И ее губы за своим ухом, на шее своей, – ожогом, клеймом ощутил.

Чернила вечера вливались в квадраты окон. Они лежали, лицами вверх, с закрытыми глазами. Не спали. Слушали друг друга. Как кровь встает и опадает в них, как омывает собой их будущую смерть. А они – жили.

– Степушка... – Мария открыла глаза и осторожно спустила ноги с кровати. – Степка, там же обед... И тебе же скоро – идти...

– Идти, идти, – пробормотал он.

Встал нехотя.

Она погладила глазами его, голого.

Встала, тоже голая, рядом с ним.

Они оба отражались в зеркале.

– Мы же с тобой не пара, – печально сказала она.

– Не пара, – откликнулся он. – Не в этом дело.

Одевались, отвернувшись друг от друга.

Потом пошли на кухню, Мария расставила на столе тарелки-чашки, поставила на огонь чайник, и они ели холодное мясо с холодной картошкой и пили горячий чай.

– Все у тебя хорошо? – спросила Мария.

Беспокойство он причинял ей, и всегда она волновалась за него. Как за сына.

Беспечная улыбка покривила губы Степана. Он сиял здоровьем, радостью, мощью молодого тела и светлыми, как хрусталь, сумасшедшими глазами.

– А ты как думаешь? – весело спросил он.

Одевались в прихожей вместе. В четыре руки. Мария застегивала куртку, Степан застегивал ей сапоги. Шапку на нее пялил. Хохотал. Избыток жизни играл в нем. Нашел губами Мариины губы, смешно пожевал их, как теленок.

– Теплая моя...

Мария ощупала на боку сумку, похожую на торбу, перекинутую на ремне через плечо.

– Ты не отдашь эту хату? – внезапно спросила.

Лицо Степана будто грязной тряпкой вытерли. Голову опустил и стал еще больше похож на теленка, привязанного веревкой к столбу.

– Дорого, конечно... Но я же зарабатываю.

– Я не могу тебе помочь, – сказала Мария.

– Я знаю. Ты и так помогаешь. Еду приносишь. Гото-

вишь...

– Не надо благодарностей.

– Это не благодарность. Это правда.

– Любая правда может в любое время стать ложью.

– Что ты... врешь?

Он снова обнял ее. Она уже гремела замком, в кулаке ключ зажала.

Когда они закрыли дверь и вместе спустились с лестницы и вышли из подъезда, Мария обернула к Степану бледное лицо и спросила очень тихо:

– А ты не боишься, что мы однажды выйдем – а тут твоя жена стоит?

Всю дорогу до трамвайной остановки оба молчали.

Подсаживая ее в трамвай, подталкивая под локти, Степан сказал ей в спину:

– Я – боюсь. А ты – ты ничего не бойся.

### 3

Темень, вечер бил ей в лицо, в глаза, в ноздри.

Ну, еще же не поздний вечер, говорила Мария себе, я же еще успею.

Она успела даже в магазин: купила бутылку водки. И закуску к ней, конечно.

Без водки было идти нельзя, куда она шла.

Уже не шла – бежала.

Поворот. Еще поворот. Проходной двор. Еще проулок. Старые дома. Дряхлые стены. Осыпается лепнина. Падает наземь штукатурка. Вот ель стоит, стройная, огромная ель – посреди серого, низкорослого старья; зима, и скоро Новый Год, и ель напомнила о нем. Ель, здравствуй! Мария, пробегая мимо, взмахнула рукой и поймала пальцами живые колючки.

Старый, древний деревянный дом, вросший в землю, встал перед глазами, как деревянный черный водопад. Мощный сруб, источенный жучками. Если закроешь глаза – и за-тихнешь – их слышно... слышно...

Полезла в сумку; своим ключом открыла дверь подъезда.

Ступени деревянной шаткой лестницы вели вниз. В подвал.

Тише, осторожно... Нащупывай ногой ступеньку... Спускайся, вцепляйся в перила... Фонарик забыла...

Впотьмах она нашарила нужный ключ. Всунула в скважину.

Потом вдруг вынула. И – нажала ладонью на дверь, и она подалась. Открылась.

Дверь была открыта. Ее ждали.

Ее ждали! И сердце забилось.

В прихожей на полу опилки. И распиленные доски. Дрова.

Старые доски, обломки шкафов, треснувшие брусья, дощатые ящики из-под помидор, из-под лука, из-под черт-те чего. Подвал надо отапливать. Хорошо, крепко печку топить. Иначе тут околеешь зимой. Здесь только летом тепло.

Так, встать каблуком – на доску... Не упасть...

В комнате, там, впереди, в полумраке, услышали ее шорох, шевеление.

Дверь медленно отворилась под ждущей, осторожной рукой.

Мягкий мед льется. Это свет? Да, это свет.

И пахнет медом, сливовым вареньем, мусором, плесенью, табаком, кофейным духом; и еще пахнет – остро, терпко – лаком, скипидаром, и – еще чем? – да, да, да, да! – красками.

Масляными красками, и темперой, и акрилом, и...

– Машка-а-а-а-а! – Вопль вырывается из усатого, бородатого рта, будто из сердцевины старого пня, заросшего мхом и выеденного гнилью времени. – Рваная рубашка-а-а-а-а...

– Тише, тише, Федор... – Она уже в медвежьих лапах, и лапы ее мнут, тискают, вертят; лапы сходят с ума от радости, лапы радуются ей, как празднику. – Тише, солнце мое... Я, я...

Тот, кто обнял ее, отстраняет ее от себя, отпускает ее.

Только его глаза не отпускают ее. Глаза ходят по ней, бродят, ощупывают ее, обласкивают, гладят, тормозят, ерошат; глаза вливаются в ее глаза, как вливается сладкое вино, креп-

кая, белая водка. Да, светлые. У него тоже светлые глаза, думает она, тоже. Как... у того...

– Машулька!.. Надолго?..

Он берет у нее из рук сумки. Заглядывает в них, как ребенок: что там мамка принесла? Ага-а-а-а! Что-то такое хорошенькое принесла...

– На вечерок, Федя.

– Может, останешься?.. – Она слышит его медленное, хриплое, табачное дыхание. – На ночь?..

– Нет, Федя. Завтра мне на участок.

– А пошел он, этот твой участок, в жо...

– Федя!

– Ах, пардон, жо-о-о-олтые сапожки...

Мария смотрит, как он вынимает из сумки бутылку, за ней сверток, и еще один.

– Ух ты, Машка моя!.. Чего-то прикупила, вкуснятины... что здесь? Ух-х-х-х, колбаска! Давненько я колбаски не...

– Режь! Рюмочки давай! Устала я. Там еще сыр! Хлеба не купила, не было.

Мария сбросила пальто, стоя стащила сапоги, кинула их в угол; спугнула сапогами спящего серого кота. Кот вскочил, дико мяукнул; вылетел в открытую форточку. Высоко над землей открытую. Федор и кот ютились в подвале, почти целиком утонувшем в земле – окна висели, светясь, над головой.

«Как в тюрьме», – подумала Мария.

– Щас. Порежу. Сядь, ну садись же...

Она села на корявый, будто горбатый, маленький стульчик на кривых ножках, чуть не упала с него и засмеялась.

Федор уже резал колбасу на заваленном окурками, невымытыми тарелками и чашками, пустыми банками, спичками, рванными бумагами, высохшими тюбиками, уставленном старыми настольными лампами и обгорелыми свечными огрызками, заляпанном грязью и пролитой едой столе. На столе, как на холсте, жизнь грязью написала великую картину, под названием: «Одиночество». А может, это был не стол, а старый верблюд, с головы до ног увешанный побрякушками мертвого, утраченного времени. Живой был этот стол, и он устал быть грязным и несчастным. Он ждал Марию. Одна Мария, одна на свете, его мыла, терла, отчищала, обихаживала, украшала чистой посудой – и свечи на нем зажигала.

Она зажигала всегда свечи, потому что Федор очень любил свечи.

И Федор, ожидая ее, и когда она являлась, тоже, творя ей праздник, свечи зажигал.

Он думал – она любит горящие свечи; а она думала – он любит огонь.

А может, это огонь любил их обоих.

– Некогда восседать. – Она поднялась с горбатого стульчика. – Надо помыть посуду.

Она отправилась в маленькую подсобку, где Федор держал дрова. Там же лежали тазы, в которых он время от времени

мылся. Сырая мочалка, висящая на гвозде, пахла стиральным мылом. Поленица бесплатных, мусорных дров, украденных на свалках, помойках и стройках, за нынешние морозы потощала. Черная страшная раковина приняла у Марии из рук гору посуды. Улыбаясь, Мария оттирала тряпкой и губкой еду, плесень, наросты, потеки, слезы, блевотину, пепел и прах.

Оттерла. Под струей ледяной воды сполоснула. В комнату внесла.

– Ах, не помыла рюмки...

Федор, смеясь, сделал вид, что смачно плюнул в рюмку, и протер ее полый выпачканной в масляной краске рубахи.

– Нет проблем!

Он уже открывал водку. Зубами.

– Федя, ну что ты, последний зуб ломаешь...

Он беззвучно хохотал, как безумный.

– Уже сломал...

Водку разлил. Оба взяли в руки ртутный, перламутровый блеск.

– Ледяная...

Он высоко поднял рюмку. Посмотрел в нее на просвет, как в алмаз ограненный.

– Выпьем за то, Машка, чтобы меня отсюда не выгнали!

Оба выпили, сразу опрокинули рюмки, Федор быстро цапнул с тарелки и поднес ко рту Марии кусок колбасы. Она взяла у него из рук колбасу зубами, как ручной зверь.

– Кто тебя выгонит? – спросила она с набитым ртом.

Он быстро, ловко снова налил обе рюмки доверху.

Они оба стояли перед столом, так и не сели. Как на вокзале в буфете. Будто поезд через полчаса.

– Город, – коротко сказал. – Мастерские отнимают. Я ведь тут... на птичьих правах. Я тут... вместо Вити Балясина. Витька в деревню уехал. Давно. Лет двенадцать назад. И мне свою халупу оставил. Спас меня. Иначе я бы... в сугробе... – Он махнул рукой. Зажмурился. Головой помотал, как блохастый кот. – Я не знаю, что с Витькой, может, помер давно. Ну и... я тут как мышь сижу. Никого не трогаю. Вот тебя... все время жду. Картинки свои... малюю. Никому... не нужные...

– Мне нужные, мне! – крикнула Мария отчаянно и обняла его за шею.

Шея у Федора была горячая и крепкая, как бревно. Могучая.

А вот зубов во рту уже мало было.

Он смотрел на Марию, как на икону. Как на свеженаписанную картину.

– Ты моя милая, – сказал он тихо. Руки его легли на ее лопатки. Беззубый рот солнечно, пусто улыбался. – Ты моя ясная. Так я для тебя и пишу. Мне уже никто не нужен. Ничто. Ни выставки, ни продажи... Мои картины... Разве они – для рынка?

Он смотрел в лицо Марии, и она глядела в его лицо.

Их глаза нежно целовались, а губы улыбались, смеялись беззвучно.

– Да, – сказала Мария, – конечно, твои картины не для рынка. Рынок их просто не поймет. Они для него слишком...

– Выпьем! – крикнул он.

– Слишком прекрасны, – сказала Мария.

Пока они пили водку, закусывая сыром и колбасой, на них сзади, из-за спины Марии, смотрели расставленные по запыленным полкам: икона св. Серафима Саровского, его Федор ласково называл «Серафимушка»; икона Божьей Матери Федоровской с пыльными малиновыми стразами в иззелена-медном окладе; лубочная картонка с изображением черноликого Кришны, толстопузого младенца в жемчужных бусах; позолоченные колокольчики с китайскими нефритами, висящие на рыболовной леске; два старых медных подсвечника – и свечные огарки торчали в них, да, с натеками желтого, белого и коричневого воска, со свинячьими черными хвостами фитилей; камень с отпечатком первобытного спирального моллюска; меднозеленая статуэтка Будды с отломанным носом; открытка с индийской красавицей, волоокой Лакшми; а еще – на затянутой печной гарью, как траурным крепом, стене горела, как рыжие и золотые, с синими взливами огня, дрова в печке, вырванная из старого журнала репродукция «Троицы» Рублева.

Это были все драгоценности Федора Михайлова.

С женой он расстался давно. Не вынес ее гулянок, ее наглых хахалей. Она была жива, по его словам, где-то еще жила; спилась совсем. Квартиру она продала и прокутила тоже давно. Двое детей выросли в аду – и уехали искать рай, укажили жить своей жизнью в другие города.

Еще на них – со всех сторон – глядели картины.

Они были яркие, как самоцветы.

Ониплыли и звали. Вспыхивали и гасли.

Они обнимали – и отпускали на свободу.

Как это он повторял ей всегда: «Любовь – это не привязка, а свобода. Она не вовне, а внутри. Любовь – истина, а все остальное – подделка».

И картины его, без слов, это же говорили ей.

Когда он успел зажечь свечи? Все эти огарки, обломки, огрызки былого света?

Пока она, смеясь, нюхала пустую рюмку, глядела в пасть горячей печки, грела руки, закидывала голову, поправляла волосы? Пока что-то сбивчивое, веселое говорила ему, бормотала, шептала, вспыхивала внезапным, играющим смехом? Но свечи все уже горели, уже пылали, уже трещали и рассыпали по подвалу яркие, золотые, медные, медовые искры, уже бились красными и синими птичьими хвостиками огненные языки, и это был маленький, подвальный, нежный

праздник света: он всегда устраивал его ей, когда она к нему приходила. Как заклатье огня. Как освящение. Как обещанье.

Церковный. Дикий. Языческий. Зимний.

Языки свечей как кисти, обмакнутые в золотую краску.

Огонь, огонь, Бог есть огонь, может, и правда?

Они стояли, пили водку и ели, не понимая, что стоят. «Что же мы стоим, сядем давай!» – завопил он, и тогда они сели. Свечи трещали. Огни горели, плыли в их веселых, косых от водки и поздней радости глазах. Он сел на колченогий стульчишко, Мария села ему на колени. Привалилась спиной к его груди. Горячая грудь какая, как печка.

В подвале было тепло, жарко. Он щедро натопил печку к ее приходу.

Ждал...

«Всегда ждет. Или – чувствует, когда приду?»

Он нежно прикоснулся губами к ее шее, к затылку. Взял в рот, как конь – овес, теплые от ее кожи хрусталины ее маленьких бус.

– Ну что?.. Опьянели мы с тобой?..

– Немножко...

– Хорошо тебе?..

– Да... Очень... Я с тобой – сама своя.

– Я знаю.

Тихо, вкрадчиво цокали часы.

Время... время...

– Может... останешься на ноченьку?..

Она прижалась щекой к его небритой, горячей щеке.

В подвале пахло печкой, плесенью и красками.

– Нет.

– Ты же хочешь!..

– Да. Но пойду.

Она тихо встала с его колен, и он поддержал ее осторожно и свято, как хрустальную. «Хрустальный мой, – подумала она, – драгоценный мой... нежный мой, такой нежный, заброшенный, сырый, заросший... Я ведь одна у тебя...»

– Ты же знаешь, что когда я ухожу, я все равно остаюсь, – пробормотала она уже пьяным, неслушным языком, глотая пьяные, светлые слезы.

Когда Мария одевалась, Федор закурил. Он курил, отдувая дым в сторону, к печной выюшке, наблюдал, как она застегивает сапоги, ищет пальцами пуговицы куртки, и глаза его тоже блестели.

– Когда ты уходишь, будто руку мою отрезают, будто ногу, – бросил он.

Мария взяла его ладонями за щеки, приблизила лицо к его лицу и сказала, глубоко, как в озеро, заглядывая ему в глаза:

– Душа моя обнимает твою душу. Люди телами обнимаются и любят, а мы – душами. Это бывает так редко. Этого, наверное, почти не бывает. Всем нужна постель. А мне

нужно сердце твое. А тебе – сердце мое.

Он наложил губы на ее губы, вдохнул в нее воздух, и она весь выпила его, вобрала.

На улице уже мела метель. «Работы будет завтра», – подумала Мария и подняла воротник куртки. Не качайся, ступай ровно, так, вот так.

## 4

Ключом от дома она открыла домашнюю дверь.

Петьки дома не было.

Не успела она подумать: где же шляется? – как за дверью застучало, загрохотало, и сначала загремели в дверь кулаками, потом истошно зазвенел звонок. Мария распахнула еще незапертую дверь. Она еще в куртке перед зеркалом стояла, не успела снять.

Чьи-то руки втолкнули, вывалили на нее тяжелое, шаткое тело. Тело стало падать, и она подхватила его на руки, и только потом поняла, что это ее сын.

– Петька! – крикнула Мария, и перед глазами у нее пьяно потемнело. – Петька! Кто тебя избил!

На Петре живого места не было.

Синяки. Кровоподтеки. Ссадины.

Кровища хлестала из перекошенного, как в глумливой ухмылке, рта.

– Мама, – сказал Петр нутром, утробно, – мама, ты не...

Мама, зубы вставлю...

– Что с носом?!

– Уже вправили, – выхрипнул он.

Мария доволокла Петра до дивана, уложила. Вернулась к двери, заперла ее.

Бросала одежду прямо на пол, резко, грубо сдирая ее с себя. Пустила холодную воду в каморке, где стояла ванна на чугунных лапах.

Крикнула оттуда:

– Кто тебя?!

Петр молчал.

Мария намочила полотенце в холодной воде, подошла к лежащему на диване Петру, обтерла ему лоб, руки, расстегнула куртку, рубаху, обтерла грудь. Плакала. Слезы сами лились.

– Мама, – сказал Петр кровавым ртом, – мама, от тебя водкой пахнет.

– Кто тебя, скажи...

Она рыдала уже в голос.

Петр двинул рукой и застонал. В заплывших синяками глазах у него плясала, как метелица, ярость и злоба.

– Это тебе не твои книжные герои, мать. Это... жизнь.

*ИЗ КАТАЛОГА Ф. Д. МИХАЙЛОВА:*

*«На картине «Лотос» живописца Федора Михайлова изображен роскошный, ярко светящийся гигантский цве-*

*ток. На густо-синем, почти черном фоне, символизирующем черную равнодушную пасть бесконечной Вселенной, вспыхивает бело-золотой костер. Языки его огня, отсвечивающие то алым, то парчово-золотым, то нежно-розовым, то снежно-синим, напоминают лепестки распускающегося лотоса; здесь, у Михайлова, космический цветок сакрален, он одновременно – и священный небесный огонь, и знак живой любви, обреченной на смерть и несущей чистую радость, вспыхивающей между двумя бесконечностями, между тьмой и тьмой – до рождения и после ухода из красоты и ужаса бытия».*

## **ИНТЕРМЕДИЯ**

### **ГЛЯНЦЕВЫЙ ЗАВТРАК. МОДНАЯ ПОМАДА**

– Я сегодня в та-а-акой бутик съездила, па-адруга!.. в абал-денный... Там такое бельецо купила, закачаешься... От Армани, конечно же, это же мой дружок, да-а-а-а... Где?.. Ну, долго объясня-а-а-ать... Мы с тобой съездим туда... ну, хочешь, завтра? Завтра я не позирую, и эфира с Сашульчиком нет, и вообще завтра гуляй, Вася!.. вот и съездим. А знаешь, кого я там встретила?.. Ни за что не догадаешься!

Голые ноги нашаривают тапочки.

Голые, очень гладкие ноги.

Как целлулоидные.

И колени перламутрово блестят.

И ногти на ногах тоже перламутрово блестят.

И ногти на руках тоже перламутрово, нагло блестят.

И пальцы нагло вынимают из-под белого махрового халата грудь, и так же нагло, зазывно, возбуждающе мнут, теребят сосок. Сам сосок и кожа вокруг соска выкрашена золотистой краской. Вроде как сусальным золотом.

Красивая девка, сидя на диване с ногами, теребит себе сосок, говорит по телефону и, слегка просунув язык между фарфорово-белыми зубами, нагло, заинтересованно рассматривает себя в зеркало.

Поднимает голую ногу. Пола короткого халата ползет вверх. Под халатом трусиков нет. Есть голый живот и голый бритый треугольник над темно-розовой щелью. Девка слегка отставляет ногу, отводит вбок.

В зеркале – отражение ее бритой письки. Девка облизывает кончиком языка перламутровые губы и откровенно, хулиганя, изгибаясь на диване перед зеркалом, любит себя собой.

– Ну кого, кого!.. Догадайся с трех раз...

Девка засовывает себе в раскрывшуюся розовую щель палец. Хихикает. Подмигивает в зеркало сама себе.

– Ну давай, давай... Давай...

Прижимает трубку к уху плечом. Освободилась другая рука. Девка ласкает одной рукой себе грудь, другой – вздраги-

вающий низ живота.

Махровый пояс халата развязывается, скользят. Девка лежит на диване в распахнутом халате, как нагая богиня на белом кварцевом песке, на берегу моря.

И правда, обивка дивана густо-синяя, как море в грозу.

– Ну, еп твою мать!.. какая же ты глупая, Диди...

Колени торчат вверх. Ступни ракушкой повернуты друг к другу.

Палец погружается все глубже.

На щеках – румянец.

Видно, как ей хорошо и озорно.

Она кричит в трубку:

– Ну да! Да! Все-таки – да! – да! – это был он! Он!

И – воркует:

– Ви-и-и-итас, мон ами... Виту-у-усик...

Голый круглый гладкий зад слегка приподнимается над диваном. Девка выгибается, ложится затылком на вышитую жемчугом подушечку.

– Ха-ха-ха-ха-ха! – громко хохочет.

Палец гладит увлажненную кожу все чаще, дрожит.

Кончик языка дрожит между белыми зубами.

– А-а-а-а-а... Да-а-а-а-а...

Зубы прикусывают нижнюю, чуть оттопыренную, блестящую перламутром толстенькую губу.

– Ха-ха-ха-ха!..

Дверь неслышно распахивается.

На пороге – с серебряным подносом в руках – лакей.

У лакея глупое, изумленное и смущенное лицо, покрытое модной трехдневной щетиной. Он изо всех сил старается не смотреть на полуголую девицу, ласкающую себя, и старается не уронить поднос.

– Кх-х-хм...

Девица закидывает голову. Продолжает хохотать, как безумная.

Слов нет – уже один хохот остался.

– Ах-ха-ха-ха-ха-ха!.. ха, ха, ха...

Лакей переступает с ноги на ногу – и все-таки, бедный, неловкий, наклоняет поднос, и с него на пол, на навощенный цветной паркет, летят –

фарфоровая чашечка, и коричневая жижа кофе брызгает на белый халат

фарфоровое блюдо с тигровыми креветками

бокал шампанского

бельгийский черный горький шоколад, без сахара

блюдо с лобстером

блюдо с греческим салатом

стакан богемского стекла с соком гвайябы

– летят, летят, разлетаются, брызгают, разбиваются, мешаются, катятся, падают, исчезают, исчезают, исчеза-а-а-а-а...

– ...а-а-а-а-а!..

Лакей, с голым подносом в дрожащих, как у маразматика, руках, стоит и смотрит, как красивая девица, его богатая хозяйка, лежа на диване и пьяно, хрипло смеясь в телефонную трубку, вкусно и долго кончает, бесстыдно раскинув белые ноги на синем диване.

Он хочет уйти.

– Пока, дорогая! – весело кричит в трубку его хозяйка.

Уйти ему не удастся.

– Стой! – кричит хозяйка ему в спину.

Он встает в дверях, как вкопанный.

Девка глядит влажными, зверино блестящими после оргазма глазами на сдохшее великолепие ее завтрака, разбившегося об пол.

– Ты, – говорит она вполпридыхания, удивленно. – Ты!.. спятил?.. Это все – ты сделал?..

Она говорит тихо. Слишком тихо.

Лакей медленно поворачивается к ней лицом.

– Вы меня рассчитаете? – так же тихо спрашивает бедняга.

Девица прищелкивает пальцами и пальцами же зовет лакея к себе: сюда, иди сюда, ближе.

Он подходит осторожно, будто босиком по горящим углям идет.

На лице его мука написана.

Он неотрывно глядит на нагую, влажную, темно-розовую щель, вывернутую будто бы ему навстречу.

А то кому же?!

Девушка шире раскидывает ноги. Жестом показывает лакею: на колени!

И он опускается на колени.

«Ближе», – показывают ему щелкающие пальцы.

И он ползет на коленях ближе.

«Еще ближе».

И он понимает, что от него хотят.

И лицо его летит, как камень, вниз –

и губы летят

и язык летит

и язык движется и дрожит тошнотворно и голодно

и подбородок во влажное, горячее окунается

и глаза, слепые, и ноздри, зрячие, резко ударенные рыбьим запахом, душком разрезанной надвое селедки, падают, падают, падают –

– а потом лицо падает еще ниже, не понимая, кто и зачем ему разбиться приказал; и губы начинают собирать с пола, вместе с пылинками, с крохами мусора, с гладкого паркета, и язык – вылизывать, и глотка – глотать и есть, есть, есть, глотать и глотать, лизать и слизывать всю эту еду. Всю ее еду.

Всю еду – с пола, униженно, ползая на коленях, на животе; нагнув башку, как собака.

Иначе его рассчитают.

Иначе он лишится больших денег.

Он это место с таким трудом получил. С болью. С кровью.

И слышит он дикий, веселый, сытый смех над собой:

– А-ха-ха-ха-ха! А-ха-ха-ха-ха!

И поднимает грязное, в пыли, масле, майонезе, потеках кофе и сока лицо.

И тоже натужно, вторя, подобострастно, угождая, смеется:

– Ха-ха-ха! Ха-ха... ха...

А душа-то плачет.

Ты, встань! Загвозди ей! Залепи оплеуху хорошую!

Так, чтобы она с дивана – прямо в зеркало летела!

Ею – это гадючье зеркало – разбей!

– Ну, все? Вылизал?

...это его – спрашивают?

– А теперь снимай штанишки, негодяй. Уж я помучаю тебя-а-а-а-а!

...бя-а-а-а-а... бя-а-а-а-а-а...

Он ложится на нее, елозит по ней, бьется, качается. Его лицо – напротив ее лица. Он видит ее язык, играющий, как рыба, между зубами. Втыкая себя в нее, сопя, задыхаясь, он думает: какая же у нее блестящая, пахучая, жадная, лаковая, перламутровая, модная помада.

## ЧЕРНОЕ СКЕРЦО. ТЫ УМРЕШЬ КАК ГЕРОЙ

Я попал к ним неслучайно. Хотя можно сказать: так получилось.

Все когда-нибудь как-нибудь получается.

Когда был жив отец, и старший мой брат жив был, все было по-другому. Или мне казалось?

Похоронили отца. Закопали брата.

Я понял, что в жизни есть только смерть. Что жизнь сама, вся – одно огромное притворство.

Люди притворяются, что живут и радуются. На самом деле они живут и все ждут смерти.

После похорон отца и брата мы стали жить плохо. Откровенно плохо. Мать бросила школу. Стала пить. Не сильно, а так, выпивать. Это все равно мне было неприятно. И я, глядя на нее, пить научился.

Думал тогда: как жить? Смириться – или сопротивляться?

Ну, молодой ведь, пацан. Смирение – это для стариков, для монахов или там для кого? – для импотентов. Я не импотент. Я нормальный парень.

Тут мне под руку кожи подвернулись. Я с ними резко так подружился. Кельтский крест они мне на плече набили. Я побрился налысо, как они. Черную рубаху купил. Черные берцы, тяжелые, как камни, шнуровал полчаса в коридоре,

когда обувался.

Ну, скины. Что скины? Отличные ребята. Хотя бы сопротивляются. Не как все вокруг, сопли.

Я не был никогда соплей. По крайней мере, мне так казалось.

Со скинами я тусовался года два. Мать очень переживала. Отговаривала меня от этой компании. Даже плакала: я, мол, к ним сама пойду! Попрошу, чтобы тебя в покое оставили! Я ей: мать, не дури, выкинь из головы, я сам разберусь! Они же сопротивляются режиму! У нас такой режим сволочной! «Какой?! – она орет сквозь слезы. – Какой – сволочной?! Нормальный у нас режим! И мы с тобой живем, как все простые люди! Я – работаю! На хлеб зарабатываю! А ты вот балдеешь, ничего не делаешь!»

Я тогда как раз школу бросил.

Дурдом эта учеба, решил. И правильно решил.

Я ей говорю: не ходи к скинам, мать, они тебя убьют. «Пусть убьют! – кричит. – Вот один останешься – узнаешь, почем фунт лиха!» Смеюсь. А что такое этот фунт лиха, спрашиваю? «Так бабушка говорила твоя покойная», – шепчет, и голову так наклонила, так...

В общем, я обнял ее крепко, крепко. И так сидели.

Куда-то мои скины со временем делись. Рассосались.

Мы успели много дел наделать. Избивали черных. Напа-

дали вечером, выслеживали, кто черный домой идет, неважно, старик, пацан или там девчонка, набрасывались, опрокидывали на землю и били. Черные – кричали. А мы ногами лупили, под ребра старались, в живот. Но не насмерть. А так, чтобы почувствовали, что не они тут хозяева. А мы. Мы!

Делись мои скины я знал, куда. Кто уехал в другой город. Кто – в Москву. Кого в тюрягу упекли, первой ходкой. Кто пай-мальчиком жопским стал, учиться поступил, и из скина – в чеснока превратился. Таких всего два было. Родичи заколдовали.

Мы выросли, мы повзрослели, и надо было сопротивляться по-другому.

Башку я брил по-прежнему. Мне нравилось ходить с голой головой.

Вот однажды прихожу в такое модное, на Большой Покровке, кафе, «Аventura» называется. На второй этаж поднимаюсь. Столики такие, как в старину, скатертями покрытые. Сажусь. «Косуху» не скидываю. Холодно. В кармане – два стольника, у матери выпросил, особо не разгуляешься, но водки можно немного заказать. Без закуски? На закуску – плевать. И так пойдет.

Заказываю. Сижу. Жду.

И тут за мой столик садится этот.

Ну, он самый.

Он. Их главный.

Это я потом узнал. Что главный он у них.

И что взрослее меня. Старше.

А тогда – гляжу, лысый пацан, бритый, ну как я.

Смотрим друг на друга. Вроде как в зеркало.

Он – на меня, как в зеркало. Я – на него.

Зырим. Таращимся!

– Еп твою мать, – он говорит так весело.

И я тоже говорю:

– Да уж.

Официантка подходит, смазливенькая. Челочка косая. И глазки косят, будто пьяненькие.

– Две водки по сто, – этот бритый говорит. – И еще устрицы. И блюдо креветок.

А сам на меня не отрываясь смотрит.

– Ты че на меня как на девку смотришь? – я его спрашиваю.

– Ничего, – говорит. – Выпить с тобой хочу, пацан. Тебя как звать?

– Петр, – говорю. – А тебя?

– Степан.

– Степан, классное имя, – говорю.

Косая Челка нам две по сто на стол брякнула, и еще два блюда звяк-звяк – одно с какими-то слизняками в раскрытых раковинках, другое – с нежными розовыми хвостиками очищенных креветок. Креветки я уже ел в жизни.

– А это че за херня? – спрашиваю пацана. И смеюсь.

– Это? Устрицы, темнота, – и смеется тоже, во всю глотку.  
Так сидим и ржем, как кони, а ведь еще не пьяные.

– Тише, вы! – из-за соседнего стола кричат. – Спокойно не посидишь!

– Да, да, – мой лысый оборачивается, – извините, мы нечаянно! Вот встретились...

И точно: гляжу на него, будто сто лет знаю его.

Берем водку, он свою, я свою. Поднимаем стаканы. Сдвигаем.

Над этими, зверюгами, устрицами.

А они листочками такими зелененькими уложены.

Как венками надгробными.

– Ну, будь! – и подмигивает мне. И лысый череп лоснится. – Давай!

– Будь!

Выпиваем.

Водка терпкая такая. Будто перца туда насыпали.

Перцовка, что ли?

А, один хер.

– Ты кто?

Берет ракушки руками, пальцами выковыривает из них слизь, кидает в рот, ест меня глазами. Глаза такие сине-зеленые, светлые, прозрачные, как хрустальные, зимние, две ледышки.

– А ты кто?

– Я первый спросил.

– Не видишь – человек.

– Это я вижу. Делаешь что?

– Живу.

– Так. Понял. Надо еще выпить.

Косую Челку подозвал. Говорит:

– Тащи еще! С другом гуляем.

Моментально принесла.

Еще выпили. Я креветку вилкой подцепил. Он со смехом следил, как я вилку ко рту нес, как креветка у меня с вилки в пустой стакан падает.

– Давай руками, – давясь смехом, посоветовал. – Не чванься. Тут все свои.

Я внял его совету.

Голова радостно загудела, руки-ноги согрелись, и мы разговорились.

Жевали все, что на тарелках лежало: брюхи креветок, жесткие пахучие листья, странную серую слизь зубами, пальцами, языками вынимали из бедных устриц.

– Я? Школу бросил. На хер она нужна. Работал на всяких работах. За гроши.

– Мать? Отец?

– Мать только. Отец погиб. Брат был. Тоже погиб.

– Не свезло вам.

– Не свезло, да.

– А сейчас что?

– Политикой занимался.

Мы с ним оба поглядели на бритые лбы друг друга.

– Правый, что ли? Скин? Ты скин, да?

– Был им.

– Так. – Он потер пальцами подбородок, уже начавший щетиниться. – Свой, значит. С опытом пацан.

– Что значит «свой»? Что значит «с опытом»?

– Тихо. Спо-кой-но! – крикнул он. – Я командую парадом, понял?!

Из-за соседнего столика крикнули:

– Эй, пацаны! Хорош орать!

Он наклонил ко мне голую свою кеглю и тихо, очень отчетливо сказал:

– Я вербую тебя, понял?

– Куда? – спросил я. И выковырял ногтем сопливую невкусную слизь из серой ракушки.

– К нам, – коротко выдохнул он.

– А что вы-то делаете?! – теперь уже я крикнул.

– Ребя, ну хорош орать! – недуром заорали из-за соседнего столика.

– Революцию, – очень тихо, будто девушке на ухо, сказал он.

Мы взяли еще по сто.

И еще закуски.

Мясное ассорти.

«С бабками чувак», – подумал я о нем уважительно.

Все больше разогревалось, грелось изнутри.

– Пойдешь с нами?

Я уже тепло, влюбленно глядел на его бритый лоб, на бесшумный блеск изумрудных, хрустальных глаз.

– Считай, я с вами. Программа?

– У нас одна программа. Режим свалить. Причем грамотно свалить. Четко. Режим этот волчий. И нас всех делают волками, ты понял, да?!

– Ну, свалим! И дальше что?! Дальше – как дирижировать будешь?!

– А это уже не твоя забота, Петр. Думаешь, у нас в России голов нет?

Я представил себе головы: много голов, рогатый скот, и идет на бойню.

– А мы с тобой, что, не головы, пацан?!

– И я про то же!

Мясо с тарелки исчезло мгновенно. Время текло, и мы проголодались. Молодые жадные желудки просили горячего.

– У вас горячее что-нибудь есть? – предельно вежливо спросил Степан Косую Челку. Косая Челка завертела попой под короткой юбкой.

– Обязательно! Соляночка, супчик грибной...

– Во-во! Давай, тащи супчик грибной.

Косая Челка записала себе быстро в записную книжку ко-

рявый иероглиф про супчик и убежала.

Принесли супчик.

Потом принесли второе, дымящееся, сочное, мясное что-то, я не помню уже.

Мы уже стукались над столом голыми лбами, больно, крепко, уже цапали друг друга пьяными лапами за черные кожаные плечи. Он тоже в куртке за столом сидел, не снял, как и я.

Нам было жарко, но мы нашей чертовой кожи нарочно не снимали.

– Ты-ы-ы-ы... Давай так решим... – так он мне плел, и глаза блестели. – Наш гауляйтер – классный парень, гауляйтер по всей нашей области, Игорек Шаталов. Он тебя всему научит! У нас – четкая иерархия. План четкий. Ты понял, план!

– Все идет по пла-ну, – пел я песню покойного Егора Летова, – все идет по пла-а-ану-у-у-у...

– Ты, тихо! Главное, чтоб ты понял: все тихо, нигде о нас на перекрестках не орать, если заловят – все отрицать!.. все, ты понял, все... Когда акция – все роли будут распределены, и тут надо все делать четко и быстро! В нашем деле важная хорошая реакция... и быстрота, да, быстрота-а-а-а... как на дорогах...

– Эй! – сказал я, глупо улыбаясь. – А че вы сделали такого,

в последнее время, ну, важного? Ну, серьезного? А?

– Мы? – Его улыбка отразила мою. Лысое, пьяное, веселое зеркало. – Мы? Заставили губернатора освободить трех политзаключенных. наших. Заставили! – Он сжал над столом кулак. Будто орех в кулаке крошил. – Вот так! Ты понял! Заставили!

Косая Челка неслышно подошла, наклонилась и зашептала что-то ему на ухо. Он сжал ее хрупкое запястье в своей ладони, поцеловал ей ручку, потом повыше запястья, в сгиб локтя. Она засмеялась от щекотки.

– Хорошо. Не будем.

Официантка ушла.

Он наклонился ко мне через весь стол.

Скатерть поползла вниз, и вниз поползли все пустые тарелки, все панцири дохлых ракушек, все стаканы и вазочки.

– Ты понял все?!

– Я все понял, – сказал я.

На полу валялась разбитая посуда.

Когда пришла Косая Челка, он вынул из кармана деньги и уплатил все, за всю раскоканную посуду заплатил.

Я ж говорю, он при бабле тогда был, при знатном.

– А в революции можно стать героем? – спросил я.

Я еле ворочал языком во рту.

– Кем, кем? – спросил он.

– Ге-ро-ем, – сказал я медленно, по слогам.

– А на хуя тебе становиться героем? Тебе что, самого себя мало? Такого, какой ты есть?

– Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова, – сказал я заплетающимся языком. – Хочу быть героем!

– Ты будешь героем, – выдохнул он, будто водку выдыхал из себя. – Ты! Будешь! Героем!

– Каким?

Мне стало весело, веселье щекотало, распирало меня изнутри. Я стол готов был перевернуть. Я! Буду! Героем! Это же! Так! Клево!

– Ты умрешь как герой, – сказал он как не пьяный, отчетливо, жестко.

И лысина его бритая блеснула под яркой люстрой «Авен-туры», как лысая желтая лампа.

## Глава вторая

«...квась въ серебряной лощатой братине, да съ кормового двора приказныхъ ествъ: папорокъ лебединъ по шафраннымъ взварамъ; рябъ окрошиванъ подъ лимоны, потрохъ гусятинный, да къ Государыне Царице подано приказныхъ ествъ: гусь жаркой, порося жаркое, курия в колье съ лимоны, курия въ лапше, курия въ шахъ богатыхъ, да про Государя же и про Государыню Царицу подаваны хлебныя ествы: перепеча крупичетая въ три лопатки недомерокъ, четь хлеба ситного, курникъ подсыпанъ яйцы, пирогъ съ бараниною, блюдо пирогово въ кислыхъ съ сыромъ, блюдо жаворонковъ, блюдо блиновъ тонкихъ, блюдо пироговъ съ яйцы, блюдо сырниковъ, блюдо карасей съ бараниной. Потомъ еще: пирогъ росольный, блюдо пироговъ подовыхъ, на торговое дело, коровой яцкий, куличъ недомерокъ...»

*Перечень блюд, поданных Царю Алексею Михайловичу в сеннике, во время бракосочетания его с Натальей Кирилловной Нарышкиной*

### **СКАНДАЛ В НОЧНОМ КЛУБЕ «ЛИВОРНО»! АГЛАЕ СТАДНЮК НЕЙМЕТСЯ!**

**Вчера ночью «Ливорно» потряс новый, невероятный СКАНДАЛ, учиненный в разгар ночного веселья знаменитой светской львицей АГЛАЕЙ СТАДНЮК!**

**АГЛАЯ** вылила целую бутылку **ШАМПАНСКОГО «ДОМ ПЕРИНЬОН»** на голову своей соперницы по светской шумихе, звезде шоу-бизнеса **ИНГРИД ОВЦЫНОЙ!**

Роскошное платье Ингрид, стоимостью двадцать пять тысяч долларов, от законодателя мод **ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРИАНО**, было безнадежно испорчено!

**ИНГРИД** угрожает **АГЛАЕ** подать в суд.

**АГЛАЯ** не сдается!

**«Я КУПЛЮ ВСЕХ МОИХ СУДЕЙ! – заявила скандальная звезда на месте происшествия. – И НЕ ТОЛЬКО КУПЛЮ, НО И ВЛЮБЛЮ В СЕБЯ!»**

## 1

Старый дом. Старый человек. Как они похожи.

Мария, отработав дворницкую утреннюю смену, лежала на кровати, глядела на старые стены и слушала старый дом.

Она слушала его, будто дом был – старая птица и сейчас споет, прочирикает ей последнюю песню.

Трещины стекали по стенам, как слезы. Цок-цок – капал старый кран на кухне. По потолку шли разводы, темные и светлые; это иная, неведомая Марии жизнь оставила здесь свои следы.

И правда, здесь же до них с Петром – сколько людей прошло, пролетело, промелькнуло, повеселилось? Проплакало

по углам? Сколько прозвенело пощечин? Сколько дымилось обедов... Сколько прошептано молитв у давно, давно стогривших киотов...

Батареи у них то и дело ломались, особенно зимой. Как зима – так трубу и разорвет. И слесаря матерились ужасно, невысказанно. Но чинили, варили.

Матерились потому, что особых денег с Марии не возьмешь, и так понятно.

Починят, сварят, и горячая вода все равно в батарею не пробьется, хоть режь ее наново.

Если такое случалось – Мария и Петя топили квартиру печкой-буржуйкой.

Почему «буржуйкой»? Буржуи живут в теплых, просторных, роскошных домах. У них в квартирах – свои, личные, котельные. Им не холодно, когда холодно всем. Они сидят в тепле, нога на ногу, слушают расслабляющую музыку и едят с фарфоровой тарелочки бутерброд с семгой. Или с севрюгой. Или...

Нет, ну, конечно, и водку не поганую пьют; пьют, это точно, коньяк многолетней выдержки, отменный.

А разве в жизни все дело в жратве? Разве в жизни все дело в модных дорогих тряпках?

Для них – да. Для них всех, буржуев, – конечно, да.

В дверь постучали. Мария вскочила, потерла руками лицо. Подошла к двери. Не спросила – кто? – сразу открыла: так стучала только старуха Лида.

Ну да, она. Мнется на пороге. Сухими, как курьи лапки, ручками будто невидимые кружева на груди перебирает. На кенгуру похожа.

– Что, Лидусь?..

– А-а, Машенька-а-а-а!.. А-а-а-а!..

Старуха Лида с порога заревела в голос.

Мария поморщилась.

– Ты потише. У меня... сын болеет. Он спит сейчас. Пройди давай... сюда, на кухню. Тише, тише. Что стряслось?

– Машенька-а-а-а... Ко мне приходили-и-и-и... Хотят, чтобы я бумаги какая-то подписала-а-а-а... Чай, нащел квартиры-ы-ы... Говорят: вы тут живете незаконно-о-о... Пугаю-у-у-ут...

– Лида, погоди. Брось плакать. Тише, тебе говорю! Сын проснется. Давай чаю согрею.

Мария поставила на дачную плиту прокопченный чайник, сама утерла ладонями старухе Лиде слезы со щек.

– Вот и нету слезок. Только не подписывай, прошу тебя, никакие бумаги. Никто тебя никуда не выгонит. Сказка про лису и зайчика, да?.. Ах ты зайнышка моя...

Лида, шумно, как лошадь, фыркая, пила из огромной кружки горячий чай, совала ложечку в придвинутое Марией варенье.

– Сама варила?.. Или покупное?..

– Сама. Яблоки друзья подарили. У них свой сад. Я сахара много положила, чтобы светлое было, густое, медовое.

Мария улыбнулась старухе Лиде. Лида, шмыгая, вздрагивая всем сухоньким, старым, крохотным, как у колибри, тельцем, пила и пила горячий чай, спасалась им от обиды, от слез.

Не успела старуха Лида уйти – опять идут. Звонок.

Мария пошлепала к двери, шепотом выругалась на ходу.

– Кто?

– Машер...

Так звал ее только один человек.

И она открыла дверь, смеясь.

Она так радовалась ему!

Ему, обломку старого, давно затонувшего корабля...

– Здравствуйте, Василий Гаврилыч. Проходите!

Высокий сутулый старик, слепые глаза косят, плывут вбок, белые волосы метелью обдувают медный лоб, как медную каску, медный котел. В том котле варилось и сварилось время. Сварились до костей любовь и смерть. Одно бесстрашие осталось. Янтарное, наваристое.

А руки дрожат. Руки вслепую ищут и находят потерянное. Руки гладят и ласкают утраченное. «Я так одинок, – шепчут усталые, сморщенные как рытый коричневый бархат, слепые, жалкие руки, – пожалейте, обогрейте. Будьте рядом, пожалуйста».

Неужели когда-то, почти век назад, он скакал на коне по степям Забайкалья, северной Монголии? Офицер Белой

Гвардии Матвеев, ставший красным командиром, и трубка в зубах, и галифе наглое, и – с другом – оба – на покрытых инеем лошадях, пар из ноздрей на морозе – на коричневой, как сибирский мед, старой фотографии?

– Дома, Машер... Ты дома, это хорошо...

Старик прошел по прихожей, ощупывая стены.

Мария подцепила его под локоть.

– Видите? Да? На свет идите... сюда.

Снова кухня; снова чай. И к чаю баранки. И яблочное варенье, прозрачные сладкие золотые дольки. Пьют и едят старики, а сколько им осталось?

Может быть, несколько. Сегодня. И завтра. И все.

Старик Матвеев пил и ел, и его слепые глаза мазали по Марии малярной, белой кистью. И белые волосы он горячим от чая дыханием отдувал со лба.

– Все ли у вас хорошо, Василий Гаврилыч?

Старик поставил чашку в блюдце и промахнулся. Мария успела подхватить горячую чашку, и все же горячая капля пролилась старику на руку.

– Машер... Отличное варенье... Да нет, нет, не обжегся я... – Его длинный вздох обволок ее лицо серой паутиной. – Я... просто... Мне сегодня пожар приснился.

– Как приснился? Расскажите!

Он любил рассказывать своей Машер свои сны.

– Да, вот так... Будто бы ко мне стучат. Приходят. Знаешь, как раньше: ночью, чтобы забрать... А я – в белье – с poste-

ли прыг! – подтяжки не найду, брюки... так в кальсонах и стою перед ними... А они мне: собирайся быстрее! Живей! Жизнь свою спасай! Да вы меня спасти пришли или погубить, я им кричу?! А они мне: давай прыгай в окно, гляди, уже началось!.. И правда... все вокруг меня...

Старик замолчал. Мария терпеливо ждала. Ее руки делали свою работу: наливали заварку, лили в чашку кипятков, накладывали варенье в старую, как Матвеев, битую розетку.

– Ну что?.. что вокруг вас...

– Горит! Все горит! Дом наш – горит! Полыхает! Стены рушатся... Искры – стеной встают... Огненный ливень! Пламя летит... опалает! Волосы на мне – уже горят! И я ору недуром! И качусь колобком вниз по лестнице! И...

Мороз пошел у Марии по спине.

Рассказ об этом сне, такой настоящий, такой жаркий...

– Ну?

– И выкатываюсь на снег! А дом наш – как факел! Огнем охвачен! Горит, горит мое жильё! Горят милые, бедные бревнышки наши! – Старик хлюпнул носом, утер лицо ладонью. – Костром пылает! Искры, как зерна, летят... Ночь... И я стою рядом с пожаром, с домом нашим горящим... и плачу, и так кричу страшно, что глотку криком разрывает! Ведь это последний дом мой горит... жизнь, вся жизнь моя горит и сгорает! На-все-гда...

Он взял чашку в обе руки, наклонил над ней трясущуюся голову. По его лицу шли волны ужаса.

Да, он боится. Он очень боится смерти.

Он, не боявшийся смерти в бою. В тюрьме отсидевший. Детей и внуков – похоронивший.

Его пальцы искали и не находили сигарету, спичку. Его легкие просили глотка дыма. Глотка – забвенья.

– Василий Гаврилы-ыч... ну что вы! – бордо выкрикнула Мария и обняла старика за дрожащие плечи. – Вы знаете, к чему пожар снится? А?

– Не-е-е-ет...

Он привалился медным морщинистым лбом к ее круглому, как яблоко, плечу.

– К деньгам, вот к чему! Прибыль будет у вас, прибыль!

Она врала или говорила ему правду? Откуда она это взяла? Она никогда никаких сонников не читала.

Слепые глаза повелись вниз, вбок. Слепые глаза искали ее руки. Ее глаза. Искали и не находили.

Она сама нашла руками его руки, сжала. Нашла губами его сморщенную, как кожица яблока в ее варенье, щеку.

– Василий Гаврилыч, давайте, я вас сосватаю!

Он нашел невидящей, колышущейся рукой ее щеку, погладил.

– Кто невеста?.. Ты, Машер?.. Я согласен.

– Нет. Лида. Она одна... и вы один. Вам будет тепло вместе.

– Лида?.. Ох, Лида... Ах-ха-ха-ха!.. ну, насмешила...

– Я серьезно.

Старик облокотился на стол. Его лицо внезапно помолодело, заслонилося седой метелью давних, безумных лет.

– Спасибо тебе, Машер. Меня так давно не сватали. Ни за кого. Я уж забыл, как это бывает.

Когда старик Матвеев напился чаю, успокоился и ушел восвояси, Мария наготовила бутербродов, прихватила пачку печенья, пару яблок, сложила все в кулек, накинула куртку и пошла в гости в шестую квартиру. На втором этаже, в квартире № 6, под дырявой крышей, жил бродяга. Его звали Пушкин. Никто не знал, настоящая это фамилия или прозвище такое. Имени у него не было. Пушкин – и все.

Она остановилась перед дверью. В двери тоже зияли дыры. Из дыр дул ветер.

«Окна открыты... или разбиты», – догадалась Мария.

Нажала на звонок. Звонок не работал.

Она постучала – сначала кулаком, потом ногой.

За дверью заскребся будто кот.

– Эй, Пушкин, – тихо, но внятно сказала Мария, – я тебе поесть принесла.

Дверь испуганно, на щелочку, приоткрылась.

Пушкин увидел Марию и отворил дверь пошире.

– Лапуся... Лапуся... Нас еще не ломают?..

– Нет еще, Пушкин. Не ломают. Живи. Вот тебе гостинчик.

Она протянула бродяге кулек. Он схватил его жадно, цеп-

ко.

– Ешь. Только кошек больше не лови, не ешь.

– Лапуся... Кошки, дряни... они грязь разносят, я атмос-  
фэ-э-эру очищаю...

– Кошки бывают лучше людей, Пушкин. Ну все, я пошла.

Мария попятилась от вонючей двери. За дверью свисали дырявые тряпки и валились с потолка гнилые доски; за дверью жила и умирала чужая жизнь, до которой никому, кроме нее, не было дела. Одна жизнь – из бездны жизней. И она тоже уйдет в бездну смерти.

Но, пока Пушкин жив, он хочет жрать!

– А что тут?.. О-о-о-о, колбаска...

Он все еще стоял на пороге, провожал Марию жадными глазами, двумя огоньками гнилушек в разломанном пне.

Мария шагнула на ступеньку.

– И яблочки...

Мария шагнула на другую.

– А хлебец-то свежий!..

Еще вниз шагнула.

– И печеньице, епть!..

Она ступала вниз, все вниз и вниз. По лицу текло соленое, горькое.

## 2

Сон старика Матвеева сбился скоро и страшно.

Ночью запахло горелым. Мария вскочила, втянула носом странную, опасную гарь.

Кинулась в комнату к Петру.

– Петь, а Петь... Как ты?..

– М-м-м-м-а-а-а-а... Что разбудила...

– Петя, если можешь, встань. Мы, кажется, горим.

Она кинулась к окну.

И – отшатнулась.

Огромное, гудящее рыжее пламя крепко обняло, плотно охватило, грызло угол дома. Красное зарево металось по потолку, по стенам. Марию прошиб ледяной пот.

– Быстро одевайся... Самое необходимое – в сумки...

Она уже заталкивала в сумку пожитки.

Петр встал, застонал от боли в избитом теле. Шарахался по комнате. Забежал в кухню.

– Мама, погоди... Может, пожарку...

– Я стариков разбужу!

Метнулась в подъезд. Огонь плясал на лестничной клетке.

«Что это?! Мог плиту Пушкин горящую оставить. Газ мог рвануть! Старик Матвеев – он же курильщик – мог окурочок на плитус бросить... Все что угодно!» Мария затарахатела в дверь к старухе Лиде. «Не слышит, проклятье, не слышит. Она же сгорит!»

Пока она стучала к старику Матвееву – Лидина дверь завизжала.

– Батюшки!.. батюшки!..

– Скорее, Лида, скорее! Одевайся теплее! Шубу! Бери теплые вещи! В сумку!

Матвеев не открывал. «Дверь высадить, что ли?! Такую дверь только ткни...»

Она и ткнула: плечом нажала.

И дверь подалась.

Открыта была.

«Спит с открытой дверью: смерти боится. Или, наоборот, ждет: приходи когда захочешь».

И старик Матвеев твердо вышел навстречу Марии в белых, как степной снег, кальсонах. Высокий, длинный, как жердь. Кавалерист. Старый лагерник.

– Что, Машер, что?!..

– Все сбылось, Василий Гаврилыч! – прокричала она ему в лицо.

И он улыбнулся бешено, светло.

Второй этаж был весь в огне.

Мария стояла на лестнице. Дико, хрипло кричала в огонь:

– Пушкин! Пушкин!

Огонь трещал и гудел, рвал красными зубами черный воздух.

Мария слетела по лестнице – пламя на глазах съедало деревянные гнилые ступени.

Огонь опалил ей волосы и ресницы.

Она выбежала в снежный двор, и Петя дрожащими руками нахлобучил ей ее зимнюю вязаную шапку на затылок.

Во дворе уже прыгали на снегу жильцы.

Они прыгали, рыдали, ругались, выкрикивали что-то снегам, небу. Волокли от крыльца нищие вещи. Старуха Лида мелко, будто солила себя птичьей щепотью, крестилась.

Они, жильцы, стояли во дворе и глядели, как горит их дом.

Как их жизнь горит.

Когда приехала пожарная машина, полдома сгорело. Старик Матвеев, в мохнатой овчинной шубе поверх кальсон и бязевой ночной рубахи, белыми слепыми, сумасшедшими глазами крестил черные обгорелые доски. «Прибыль... прибыль...» – шептал он. Густая пена хлестала из змеиных грязных шлангов. Мария слушала, как музыку, густой мат парней-пожарников.

– Подождли! Уже который дом в округе...

– И ничего им за это не будет, сволочам!

«Как – подождли? Кто – поджег?» Слова обожгли ночной, обезумевший мозг и растаяли в белом пламени легкой метели.

Люди бессильно, потерянно стояли на снегу, кто – успев натянуть сапоги, тапки, кто – босиком, в наспех накиннутых пальто, в старых, траченных молью шубах, стояли и плакали, глядя на злую пляску огня в черной, беззвездной зимней ночи.

Во дворе чернели черепахами старые сараи. Там хранили негодные шкафы; велосипеды без спиц и без руля; изломанные холодильники; подгнившие дрова; древнюю мебель; пустые банки и иную тару. Но не будешь же жить в сарае! А где будешь жить? Зимой, в морозы?

Сгорел почти весь дом. Остался – от него – огрызок. Угол, где ее, Марии, жилье. Теперь все они, все бездомные, будут жить у них?

Варенье, варенье мое, и ты не сгорело... Жженный сахар, райские яблочки...

Жители вытащили из сараев дрова, отыскали пилу, распилили шкафы, подожгли их. Устроили костер. Грели руки. Приседали у огня; грелись. Снова плакали.

Их немного было, жильцов. В доме было всего восемь квартир.

Огонь убивает, и огонь спасает.

Они смотрели на костер, на черные доски и пепел, на поземку, обвивающую ноги, друг на друга. В мокрые, кривые от отчаянья, холодные, бледные лица друг друга смотрели они.

– Мама, как все быстро... – сказал Петр, кусая губы.

И правда, как все быстро, подумала изумленно она.

Подожгли! Пожарные сказали – дом подожгли. Кто? Зачем?

– Да вить известно, зачем! – крикнула сквозь рыдания старуха Лида. – Штобы выселить нас, мусор человечесий! Куда

угодно! А тут... земля освободится!.. и они, богатеи, роскошный домище себе отгрохают... И будут, как цари!..

– Цари, – глухо, тихо сказал старик Матвеев. – Вот они, наши новые цари. А мы – их новые рабы.

И захохотал – тихо, страшно, безумно.

Мария грела руки дыханьем.

У них сгорела кухня и столовая. Осталась жива кладовка и Петина спальенка.

Ванна на чугунных лапах – жива... Старый чугунный лев...

Рукавицы, ее дворницкие рукавицы. Они живы, не сгорели. Они там, в кладовке. И ее метлы. И ее лопаты. Она завтра выйдет на работу. До шести утра еще сколько там? А, еще два часа.

И – ни одной звезды на небе.

– Пушкин пропал, – сказала Мария одними губами.

Петр услышал.

Ежился на ветру, засовывал пальцы под обшлага «косухи».

– Сгорел, – бросил, как плюнул окурок на снег.

### 3

Кулак сжался, косточки выпялились из кулака, и кулак громко, неробко постучал в дверь кабинета.

– Да! – раздался гнусавый голос.

Голос звучал так: «К черту подите».

Мария шагнула в кабинет, как в клетку с хищниками.

Быстро обежала пространство глазами. Нет, опасности вроде нет. Не нападут.

Она впервые в жизни была в кабинете, где сидели власти.

– Здравствуйте, – сказала Мария.

Ей не ответили.

– У меня письмо, – сказала Мария и протянула руку с бумагой. – Передать... мэру.

Густо накрашенная женщина за столом даже не повела головой в ее сторону.

За другим столом тоже сидела женщина. Мария покосилась на нее. Вторая дама копалась в бумагах. Похоже, обеим дамам дела не было до Марии.

– Извините, – сказала Мария, повысив голос. Ей захотелось скомкать в кулаке письмо.

– Что вы кричите? – сказала первая дама, не поднимая головы. – Потихе.

– Возьмите письмо, и я уйду, – сказала Мария очень тихо.

Нить оборвалась внутри, и она поняла: ничего тут не выйдет.

Первая дама подняла пышноволосую голову, крашенная копна дрогнула. Мария поразилась тому, как зазывно, первобытно размалевано уже стареющее, в морщинах, толстое, надменное лицо. «Не лицо, а рожа. Лицо – зеркало чего? Сердца? Матки ее? Тогда она проститутка».

Дама небрежно протянула толстую руку, не глядя на Марию. Пухлые пальцы унизаны перстнями. Золотыми, с крупными кабошонами. Как у торговки на рынке. Попугайский, крючком, нос дамы брезгливо дрогнул; жирный подбородок тоже дрогнул, без слов говоря: ох и надоели всякие!

Мария опустила руку с письмом.

– Давайте посмотрим друг на друга, – сказала она так же тихо.

И тогда крючконосая дама перевела глаза на Марию.

Густо намазанный кроваво-алой помадой рот раскрылся. Язык задрожал в нем языком пламени. Спокойно, говорила себе Мария, стоять, не упасть. Ей стало страшно и смешно. Глаза первой дамы походили на два белых бурава. Они просверлили Марию до костей.

– Давайте ваше письмо, – проронила дама надменно, как царица. – Что у вас?

– У нас дом сгорел.

Мария переступила с ноги на ногу.

В кабинете стояли два мягких, обитых тонкой кожей, просторных дивана.

Сесть ей не предлагали.

– Дом сгорел? – Дама зевнула, даже не прикрыв рот ладонью. Ее зубы блестели, как лакированные. – Давайте письмо сюда, что вы ждете!

Мария шагнула ближе и положила письмо на стол.

– Здесь подписи всех жильцов, – сказала Мария. Она

опять пыталась поймать глазами глаза первой дамы.

– Хорошо. Я передам, – лениво сказала дама и рассеянно передвинула бумаги на столе.

Мария стояла, молчала, ждала.

Первая дама снова норовисто, но уже не лениво-кокетливо, а гневно, рассерженно вскинула голову-копну.

– Ну что вы ждете? Идите, – сказала она.

Мария пошла к двери.

Вторая дама продолжала бессмысленно копаться в бумажной горе.

– Зарочка, не покушать ли нам? Я горячего чайку хочу! Я из дома царского вареньица принесла, и бутерброды с язычком, м-м-м! – сказала первая дама, когда Мария открывала дверь.

Я подам на них в суд. И на тех, кто поджег!

Я подам на них в суд... и на тех, кто поджег...

Никуда и ни на кого ты ничего не подашь. Проглоти слезы и иди. Иди, ступай крепко, жестко по снегу, вот так. Вот так.

#### 4

– Лука килограмм, пожалуйста! Да все, хватит...

– Тут меньшеги кила-грамма, женщины.

– Ну и хорошо. Так. Картошки сетку... Хорошая?

– Ну какая же зимой ха-рошая картошка, женщины. Ве-

шаю?

– Да, да...

– Шис-дэсят рублей.

– Еще вилок капусты. Не надо! Я сама выберу.

– Не придирайся, женщина. Вот ха-рошая.

– Да, да, спасибо. И еще... чесночка головку.

– Пат-надцат рублей.

– Что так дорого? Может, за десять отдадите?

– Бэри, Бог с та-бой!

Мария бросила в кошелку головку чеснока. Ремни кошелки врезались в ладонь.

Рынок, рынок. Вечный рынок. Все продается и покупается.

И этот лоток с овощами на улице – тоже рынок. Чеченка – или грузинка – или узбечка – продает, а Мария покупает. Кто их собрал, овощи? Кто по дорогам вез? Все это входит в цену еды, что ты купила. А съешь ты это все так быстро.

Не только ты. Еще старики погорельцы, которых ты сейчас должна кормить.

Они тебе пенсию свою суют, но ты не бери. Это стыдно.

Мария протянула торговке деньги. Смуглая косоглазая бабенка лихо подмигнула ей и ловко запрятала купюру под фартук, на живот.

Высыпала мелочь Марииной сдачи на протянутую ладонь.

Деньги, бумажки, кругляшки. Люди играют в деньги уже целую вечность. Когда они перестанут быть детьми? Когда –

вырастут?

– Еще двадцать рублей, – сказала Мария, держа перед торговкой раскрытую, с мелочью, ладонь.

Торговка сделала вид, что сильно расстроилась.

– Ах-вах-вах-вах! – притворно-отчаянно закричала. – Извини, женщина, Бога ради! Это у меня калькилятор ебаный! Я тебя – нечаяно наебала! На, держи! Вах, только не ругайся!

Выхватила из-под живота бумажки. Сунула в Мариину руку.

Марии отчего-то стало ее жалко, до боли.

Мария едва успела отойти от овощного лотка, как ее кто-то схватил за локоть.

Она обернулась. Ба! Старая знакомая. Училка, с которой в школе когда-то...

– Сонечка, привет!

– Привет, мать! – Сонечка схватила Марию за плечи, вертела, хохотала. – Ну ты посвежела, мать! В школе – хуже выглядела... Была старушка, стала молодушка!

– Ну, ты скажешь тоже...

Мария поставила тяжелую кошелку на заледенелый тротуар.

Сонечка, оплывшая, как парафиновая хозяйственная свеча, баба лет шестидесяти, выпалила в лицо Марии с ходу:

– Машуль, порепетируй одного ученичка! Ты где сейчас работаешь? Время свободное есть?

Мария опустила голову. Ей не хотелось говорить Сонечке про лопаты и метлы.

И про свой сгоревший дом.

– Есть.

– Ученичок богатый. В смысле, сынок богатеев. Золотая молодежь, х-ха! – Сонечка показала в улыбке черную пустоту между передними зубами. – Мне просто некогда, я работы выше крыши нахватала! Вздохнуть некогда! Телефончик дам? У них дом на Славянской. Трехэтажный особняк. Мать их! Жопы золотые! – Сонечка покопалась в кармане, выдернула из записной книжки листок, стала карябать ручкой телефон. – Паста замерзла на морозе! Ах ты...

– Ты процарапай, – сказала Мария. – Продави. Я разберу.

– У них собака, Машуль, знаешь, лучше нас с тобой ест! – хрипло засмеялась Сонечка. – Из серебряных мисок! С собакой – осторожней. Бульдог!

– Мальчик поступать куда будет? – спросила Мария, сунула листок в карман и подняла кошелку с тротуара. – Вставь зуб-то, Сонька, передний ведь!

– Это любовник мне выбил! – гордо похвасталась Сонечка и по-мальчишьи свистнула в дырку от зуба. – Напился и приревновал! На юридический он будет поступать, на платный! Еще одного адвокатика богатого сделают!

Старуха Лида спала у Марии в кладовке: на ванну настелили доски, притащенные из сарая, положили старое Петь-

кино пальто и старый Мариин плащ, и так Лида спала.

Старик Матвеев спал в Петиной спальне, вместе с ними. На Петиной кровати. Мария и Петя спали на полу, на одном матрасе, валетом. Укрывались куртками и шубами. Старая одежда хранилась в кладовке, потому не стореда.

Мария почистила овощи. Разожгла, растопила буржуйку. Спасибо тебе, печка, спасительница. Черная труба высывалась в окно, в приоткрытую форточку. Пламя теплым воздухом, из открытой дверцы, целовало ее замерзшее лицо, заледеневшие руки. Мария прислонила ладони к черным стенкам буржуйки.

Грейся, грейся... Тепло, как хорошо и тепло...

Погрела руки. Накрошила в кастрюлю овощи. Вышла с кастрюлей во двор.

Пошла к водонапорной колонке. С силой нажала на рычаг. Ждала, пока струя воды не пробьет морозную корку.

Вода хлынула; наполнила кастрюлю.

Мария вернулась в дом. Поставила кастрюлю прямо на железный верх буржуйки. Открыла дверцу печки; глядела на горящие доски, на драгоценные яхонты мерцающих углей. Жар шел от буржуйки, разливался по спальне.

Был еще не поздний вечер, но старики спали. Спала Лида на ванне в кладовке; слышно было – похрапывала. Старик Матвеев спал тихо, на кровати, подогнув под себя длинные, костлявые ноги. Старый конь устал. Сморился.

Они оба почти все время спали – чтобы не плакать. Не

видеть мир, что под конец посмеялся над ними золотыми зубами огня.

## 5

– Раздевайтесь, раздевайтесь! – Слова были любезны, а молодежь, кормленое дорогими кремами, длинное, как у лошади, лицо – равнодушно. – Вот сюда курточку повесьте! У вас сменной обуви нет? Вот тапочки... ваш размер?

На полу стояла шеренга роскошных, расшитых золотом и жемчугом, пухом и мехом, красивейших тапочек. Мария застеснялась и быстро всунула ноги в первые попавшиеся.

– Мария... как вас?..

– Васильевна.

– Мария Васильевна, проходите, пожалуйста! Вы ведь у нас в первый раз?

Да ведь она прекрасно знает, что в первый. Что ж спрашивает?

– Пройдите, я вам покажу дом! Вот это у нас прихожая... Осторожно, чтобы вас фонтанчик не обрызгал...

Смешок вылетел из длиннозубого, лошадиного рта. Мать ее ученика была еще молода и очень некрасива.

Мария огляделась. У нее закружилась голова. Стены были отделаны цветным мрамором – кроваво-мясным, иззелена-змеиным. Рядом бил фонтан. Радужные струи с легким шумом падали в дрожащий золотой дрожью, будто живой,

бессейн. На мраморном бордюре горела цветная подсветка. Марии казалось – она вошла в детскую сказку, в волшебный дворец.

За маленьким бассейном виделся огромный, плавательный. Изваянные животные, козлы и газели, весело скакали вдоль выложенных яркой мозаикой стен. Со стен на Марию глядели нимфы и nereиды, плескались синие дельфины, из волн вставала нагая баба, держала в руках жемчужное ожерелье.

Хозяйка глядела насмешливо, как Мария смотрит на мозаичную богиню.

– Вот здесь мы плаваем, – весело сказала тетя-лошадь. – Для здоровья. Тимочка такой слабенький мальчик. Ему нужны постоянные водные процедуры. Здесь, на первом этаже, у нас столовая... И каминная...

Мария заглядывала в огромную, как танцзал, столовую; дивилась на прозрачные, будто хрустальные, столы; на сиянье белоснежной посуды; заглядывала в уютную, увешанную медвежьими и волчьими шкурами каминную. Чуть не уронила китайскую, расписанную, наверное, тончайшей кисточкой, большую, как лодка, вазу.

Распятые звери, простите людям. Простите.

– Эпоха династии Тан... антикварная... – Хозяйка облизнулась, будто съела ложку варенья. – Пойдемте, поднимемся!

Было видно, как ей приятно показывать свой богатый дом

нищей училке.

Мария послушно шла за хозяйкой по мраморной гладкой лестнице. Заскользила, чуть не упала. Ухватилась за мраморные перила, обожгла холодом руку.

По стенам, в нишах, везде висели картины. Живопись.

Красивые картины. У Марии от их красоты немного закружилась, как от водки, голова. Вот раковина с перламутровым, вывернутым чревом. Вот огромная синяя ваза с кучей цветов: лиловая морская волна ирисов, лед белой сирени, пожар пышных пионов. Пожар. Она на миг закрыла глаза.

– Вы разбираетесь в живописи? – Тете-лошади и не нужно было ответа. – Это самый наш модный художник. Каждая его работа стоит... ну-у, я не буду говорить вам, сколько это стоит!

Сколько же стоит тогда весь твой дом, подумала Мария.

Они поднялись на второй этаж. В текущем, как река, паласе утопали ноги.

– Вот здесь кабинет мужа... Вот здесь детская... Вот тут моя спальня... А это спальня мужа...

– У вас разные спальни? – грубо и глупо брякнула Мария.

– Мария Васильевна! – Выщипанные брови хозяйки поползли вверх, потом она вежливо, изящно рассмеялась. – У нас есть еще и третья спальня, и четвертая! А как же! Для нас, для гостей... У нас есть и гостевая комната! И кофейная! И еще – рабочий кабинет для Тимофеюшки! И еще –

зимний сад, он на третьем этаже! И – домашний кинотеатр...

– Третий этаж я смотреть не буду, – сказала Мария.

– Вы устали? Голодны? Вы пообедаете со мной? – наигранно-весело сказала тетя-лошадь. – Тогда спустимся вниз. Кухня на первом этаже. Ах, я забыла показать вам еще баню! Сауну! И котельную!

В кухне тети-лошади можно было потеряться – так велика она была. Все сверкало тундровой белизной. Мрамор, керамика, эмаль, светильники – все било в глаза, чистотой и роскошью сияло. У плиты хлопотала хорошенькая, как с обложки глянцевого гадкого журнала, девочка в белом, обшитом кружевами фартуке. Девочка, отклячив изящный задик, ловко вытаскивала из духовки противень с маленькими, как птички, пирожками. Потом снова наклонилась – и засунула в духовку вертел с наколотой на него куриной тушкой.

– Налей нам вина! – крикнула хозяйка, никак не обращаясь к кухарке.

– Какого, Татьяна Павловна? – с готовностью обернулась девочка.

– Ты знаешь! Французского. Я аргентинские и чилийские красные вина не люблю, хоть они сейчас и в моде!

Темная бутылка в тонкой руке девочки летала, порхала над длинными стеклянными бокалами. Разлив вино, она так же ловко и быстро зажгла две свечи в странных, никогда Марией не виданных светильниках, и по кухне растекся трево-

жащий, сладкий запах.

Тетя-лошадь взяла бокал и, прищурясь, придирчиво рассмотрела вино на просвет.

Девочка без звука, бесшумно, расставила на стеклянном столе обеденные приборы. Подала супницу. Разлила дымящийся суп серебряным старинным ополовником. «Тоже антикварный...» – подумала Мария. Она страшилась взять в руки старинную серебряную ложку.

– Семейное серебро? – спросила.

– Не-ет! – закинула в хохоте голову хозяйка. – Муж из Италии привез! С аукциона... Вы ешьте, ешьте, Мария Васильевна! Черепаховый, между прочим, супчик! Тортю, как раньше говорили!

– Чере...паховый? – Мария все-таки взяла ложку, осторожно, как скорпиона. – А, извините... хлеб вы к обеду не...

– Я не ем хлеба! – гордо вскинула голову тетя-лошадь. – Я – худею! В нашем доме все едят без хлеба! – Повернулась к кухарке. – Подай второе!

– Сразу? – подобострастно улыбаясь, чуть приседая, спросила девочка в фартучке.

– Да. И уйди!

Девочка вытерла руки о полотенце и мигом убежала.

Хозяйка подняла бокал.

– За успех моего Тимоши! – мечтательно сказала, закрыла глаза и отпила половину бокала. Мария тоже пригубила терпкое, чуть горьковатое вино.

«У кухарочки же есть имя», – подумала Мария, зачерпывая ложкой черепаховый суп.

Вкусно было необыкновенно. Голова закружилась еще сильнее.

Тетка права, она и правда голодна. Надо есть. Но не жадно. Не быстро. Так. Вот так. Еще медленнее. Еще...

Все равно ее тарелка уже опустела, когда хозяйка еще вошла с супом и странно, совсем не аристократически, а как-то по-свинячьи причавкивала над ним.

Перед ней стояла огромная серебряная тарелка со вторым блюдом. Мария бессмысленно поскребла ногтем металл драгоценной посуды.

– Да, да, серебро высшей пробы! – Хозяйка снова отпила вина, уже одна, без Марии. – Кушайте, пожалуйста! Свиинка, фаршированная грибами! Немецкий рецепт! У меня муж в Германии...

Дверь открылась сама собой, и Мария вздрогнула.

Чап-чап, царап-царап – застучали по полу когти.

Мария опустила глаза и увидела: громадный черный пес, бульдог, в расшитом серебряными блямбами ошейнике, настороженно глядя перед собой выкаченными глазами и потряхивая слюнявыми брылами, идет к ним, к столу.

– Ах ты моя душенька! – закричала хозяйка умильно. – Ах ты мой сладенький! Чарли! Чарлушенька!

Чарли близко, очень близко подошел к женщинам за столом – и сел, и устался на Марию. От избытка чувств рас-

крыл пасть и пустил слюну. Слюна свисала у пса с зубов длинными серебряными нитями. Он издал кряхтение: «Гха-а-а» – и вдруг положил тяжелую башку на колени Марии.

Мария сидела без движения. И без дыхания.

– Не бойтесь, – довольно сказала хозяйка, – он не укусит. Он вас признал! Чарлушенька, голубчик! Поди поешь.

Пес снял голову с колен Марии и, цокая когтями по гладкому, выложенному белой плиткой полу кухни, побрел к своим мискам.

Миски не стояли на полу. Они висели на черном штыре над полом – большие, тоже, кажется, серебряные. В мисках возвышались горы еды.

Горы мяса, рассмотрела Мария.

Настоящего, хорошего мяса. Вырезки. Не костей.

– Поешь, моя собаченька! – пела хозяйка.

Мария украдкой вытерла ладонями обслюнявленную псом юбку.

– А где Тимофей? – спросила она.

– Сейчас придет, – беспечно ответила тетя-лошадь. – Он на тренировке, в фитнес-центре, потом он у меня ездит верхом! – Ее глаза любовно заблестели. – Отец ему коня купил! Такой красавец конь! Загляденье. И уздечку, и седло, и всю сбрую! И даже – плетку! Что же вы не едите свининку? Грибочки, между прочим, не так себе... трюфели... Вы знаете, сколько стоит один такой грибочек?..

Мария поперхнулась. Закашлялась. Хозяйка выдернула

из вазочки салфетку и брезгливо подала ей. Мария выкашлялась, утерла рот, отодвинула тарелку и сказала:

– Спасибо. Очень вкусно.

«То, что я не доела, Чарли отдадут». Мария повернулась и поглядела, как ест собака. Черные вислые яйца пса блестели, как черные лампы.

Мария все-таки дождалась мальчика, хотя тот появился через два часа после обеда. Хозяйка утомилась развлекать репетиторшу, оставила ее в кресле с глянцевым журналом, а сама удалилась в сауну: «Пойду попарюсь! Здоровье прежде всего!»

Но в баню – с собой – не пригласила...

Еще чего, будет она всякий сброд с собой – в роскошную баню – приглашать...

А мы – сброд для них?..

Ну да, как же. Конечно, сброд...

Но мы кое-что умеем и знаем, то, чего не умеют и не знают они, и они без нас – не могут...

Мальчик появился, и Мария поразились его худобе, нежности, показной грубости, дрожащей беззащитности юности, возвращенной в богатой теплице. «Тимофей! – выдохнул он, сдвинув каблуки, как суворовец. – А вы... Марья Васильевна?.. очень приятно». Богатый, а такой худенький, с жалостью подумала Мария.

Они вдвоем уселись за огромный, как плот, стол в его «ра-

бочем кабинете». На столе сидели куколки, много игрушечных лохматых человечков: и девочки, и мальчики. Ребенок, он же еще ребенок, а его – в бассейн, в спортзал, на коня, носом в книжку, носом – в постель... Так же, носом в девочку, тоже богачечку, и выдадут замуж... тьфу, женят, конечно...

Ты из русских писателей кого читал, устало спросила Мария. Тимофей пожал плечами. Молчал.

Глядел на ее тяжелые, рабочие, с синими ветвями вен, большие руки, лежащие на мраморном, в пламенных, огневых узорах, гладком как зеркало столе.

Мария ждала, ждала терпеливо.

Она не так задала вопрос. Она поправилась.

В смысле – любишь кого, уточнила.

«Пушкина», – сказал мальчик тихо, как ей показалось, насмешливо.

Потом Мария много правильного говорила, а мальчик, вынув из ящика стола аккуратную тетрадочку, быстро писал.

Когда они уже заканчивали, в комнату вошла распаренная, краснолицая хозяйка. Вокруг ее головы был навечно ярко-красным тюрбаном полотенце. От нее хорошо,пряно и свежо, пахло.

– Два часа уже работаете! – бодро бросила она.

«Сказала, будто плюнула», – подумала Мария.

Она встала, огладила на коленях юбку.

– Деньги вам сразу? – брезгливо и вместе покровитель-

ственно спросила хозяйка. Ее лошадиный рот дрогнул и обнажил в вежливой улыбке длинные зубы.

Мария покраснела. Кровь забилась у нее в висках.

– Сразу, если можно.

Хозяйка подошла к шкафу, небрежно выдвинула ящичек, не глядя, выхватила несколько купюр, так же не глядя протянула Марии.

И Мария взяла эти деньги, взяла послушно, покорно, как пес берет у хозяйки еду из пахнущих французским мылом рук.

Мялась в смущении. Не знала, куда положить.

Хозяйка, как на подопытного кролика, глядела на Марию, лошадино, нагло вато улыбалась.

– У меня сумочка в прихожей осталась, – сжимая деньги в кулаке, с красными как помидорины щеками, сказала Мария.

Когда они уже топтались в прихожей, и Мария надевала куртку, и журчал за спиной фонтан, роняя длинные струи в бассейн, Мария неожиданно для себя сказала хозяйке:

– Вот у вас картины... Знаете, я хотела бы... У меня есть художник один знакомый. Очень хороший художник. Просто превосходный. – И опять краска залила ей щеки: она слишком сладко, приторно хвалила Федора. – У него есть одна картина, так она вам очень подойдет. Вашему дому.

– Что за художник? – спросила тетя-лошадь так, будто го-

ворила: «Знаем, знаем, какие у тебя, нищенки, могут быть знакомые художники». – Известный? У него есть выставки, каталоги? У кого он в коллекциях?

– И выставки есть. И каталоги есть. – «Только денег нет». Она вскинула выше голову. – У него одна работа даже... в коллекции королевы английской.

– Хм! – сказала тетя-лошадь.

– Можно, он принесет вам картину, покажет?

– Что за картина? – Хозяйка склонила голову набок, как птица, и полотенецкий тюрбан мягко свалился у нее с головы; она успела поймать сырое полотенце, набросила себе на плечи. Мария глядела на ее жиденькие, мокрые, веревочные волосенки. – Может, я лучше подъеду к нему в мастерскую? Где у него мастерская?

Мария чуть не зажмурилась от ужаса, представив пещерный подвал Федора.

– Нет-нет, он сам привезет, – выдохнула она торопливо, готовно. – Он... ему так удобнее.

– А, ну да, на машине, да...

«Пешком через весь город попрут». Мария постаралась красиво улыбнуться.

– Да.

– А что изображено? А называется как?

– «Песочные часы». Три женщины... три женских торса. На фоне пустыни... золотого песка... Женщины – сами – как песочные часы... Время в них течет... И песок. Женщи-

ны нагие, смуглые, груди вперед, талии тонкие, бедра широкие...

– Очень эротично, – прищурясь, – процедила хозяйка. – Пусть привозит. Оценим. И, может, купим. Какой у вашего мастера размах цен?

– Что, что? – переспросила Мария.

Хозяйка поморщилась.

– Это как вы сами решите... как договоритесь, – поправилась она.

Где-то далеко, в комнатах, весело взлаивал слюнявый бульдог Чарли.

## 6

– Федя, Фединька!..

– Что ты, что ты, Маруся моя... И кулаком стучала в открытую дверь...

– Фединька, вот адрес, вот бумажка...

– Да что ты, душа моя, как заполошная... Куда бежишь?..

И не пройдешь?..

– Фединька, срочно по этому адресу иди, картину бери и иди...

– Да какую картину, что ты, Машулька, спятила?.. ух, безумица моя...

Целовались жадно, опять стоя, в темноте, опять как ночью на вокзале, будто на поезд опаздывая.

И правда: время уходило, утекало, убегало, как поезд.

– Неси «Песочные часы»... Там баба одна, ух какая богатая... Муженек у нее – вор в законе, что ли, такие апартаменты, в центре города, на Славянской... Прямо сейчас иди!.. Картину заворачивай в бумагу, в тряпку какую-нибудь – чтобы снегом не побило, не промокла – и иди... Ступай, говорят тебе!..

Пили друг друга, как воду холодную, вкусную, в пустыне. Задыхались.

– Сейчас, сейчас... Иду, иду...

Федор, прежде чем войти в огромный, роскошный, богатый дом, выкурил перед подъездом две сигареты. Бросал окурки под ноги, в пухлый, нападавший за вечер снег, давил подошвой старого ботинка. Да-а, ботиночки... Да-а, художничек... Не светский лев, нет. А друзья твои – все светские львы, что ли? Да таких, как ты...

Не додумал. Схватил золоченую ручку дверную, зло, с силой рванул на себя.

Хозяйка обсмотрела его мгновенно, все сразу поняла – и то, как дрожащими руками разворачивал холст, согнувшись над ним, как над больным ребенком, выпрастывая из старой грязной тряпки; и то, какие башмаки тертые, худые; и то, что зубов во рту раз, два и обчелся, будто цынгой на севере болел; но когда он освободил полотно от тряпок, она не сдержалась, втянула воздух: «О-о!»

Свет с холста ударил в них обоих, как если бы от входа в пещеру откатали камень, и солнце брызнуло в чахлую тьму.

– Сколько вы за нее хотите?

Хозяйка уже знала, что художник ответит.

Федор переступил с ноги на ногу. Еще раз переступил.

– Да, это... Сколько вы дадите...

Хозяйка усмехнулась.

– Хорошо. Подождите тут.

Федор стоял в прихожей, вцепившись в подрамник. Хозяйка ушла. Он остался один и завертел головой, рассматривая фонтан, бассейн, живопись на стенах, роскошные, алмазно играющие люстры на потолке.

– О-е-о-о-ой, – тихо бормотнул себе под нос, – ни хрена себе домулька...

У него заломило скулы от чужой роскоши. От созерцания иной жизни, которой он не будет жить никогда.

Захотелось скорее убежать отсюда. И больше никогда не приходить.

Вошла хозяйка. Несла в пальцах конверт. Брезгливо, как дохлого паука.

– Ваш гонорар, – сказала тягуче, в нос, манерно.

Федор взял – и чуть было не поклонился.

– Спасибо, – сказал. – Пусть моя работа тут...

И оборвал, повернулся и к холсту, и к хозяйке спиной, и вышел, в смятении забыв попрощаться, сгорая то ли от стыда, то ли от радости, то ли от чего другого.

На улице валил снег. Федор, закрывая огонь спички рукавом и ладонью, закурил с облегчением. Долго, жадно втягивал, всасывал дым. Дым как снег, подумал, все курится и курится, все идет и идет. А когда-то сигарета докурится. И другой – не раскурю.

Он сунул руку в карман. Вытащил конверт.

И опять сунул в карман. Ему не хотелось глядеть, сколько ему – сунули. Сколько он на самом деле стоит.

А когда уже прошел мимо старой ели и подходил к дому – понял сердцем, что Мария здесь, что не один он сейчас будет; и быстро скатился вниз по лестнице, и толкнул дверь, и да, да, она была уже здесь – и топила печь, дрова в печную глотку накладывала, кормила ее.

Мария подняла голову.

«Разрумянилась, красавица...»

– Машка! Машка...

Он видел, как она улыбается. Он так любил эту ее счастливую улыбку.

– Машка, купили! Купили...

В подвале была темень, только огонь из распахнутой печи бегал по стенам, играл на смеющихся лицах.

– Правда?! Ну да, так я и знала!

Вскочила. Обняла.

Опять к печи, к дровам бросилась. Кочергой ворошила. Искры сыпались, золотые, крупные, как зерна.

Федор повел головой, глазами. На столе уже бутылка стояла, селедочка ровненько порезана была, и с лучком уже, с маслицем.

– Уже успела... прохиндейка!..

Склонился, исцеловал ее наклоненный к огню, горячий затылок.

– Тепло?.. Хорошо натопила?.. Сколько тебе богачка отвалила?..

Она смеялась, и глаза ее смеялись.

И внезапно сделалась грустной, молчаливой.

Он знал, о чем она сейчас подумала. О том, что – мало, жалко, плохо... что – насмеялись...

Он вытащил конверт из кармана. Размахнулся и бросил в печку.

И Мария поймала конверт на излете, около огненной, плюющей искрами пасти.

– С ума сошел, дурачок, что творишь...

Развернула. Вытащила деньги.

Они оба глядели на эти деньги. На то, во что превратилась его работа. Его жизнь.

– Негусто, – Мария сглотнула слюну. – У-у-у-у...

На ее ладонях лежали жалкие деньги. Маленькие деньги.

На них можно было купить... ну что, например, купить? Несколько килограммов винограда? Мешок сахара сюда, в подвал, на зиму? Чтобы чай пить без забот? Да, чая много тоже можно купить... Хорошего – пачек двадцать, может...

У нее часто, гулко застучало в висках.

– Да она просто... посмеялась над тобой...

Он сел на корточки около нее, сидящей на крошечном табурете у печки, и нашел губами ее сухие, тревожные, обожженные губы.

– Плевать. А мы – посмеемся над ней. Вот прямо сейчас и посмеемся! – Он поглядел на лаково, ртутно блестящую, узкогорлую бутылку на захламленном столе. – А селодочка-то уже смеется... Ты – купила, эх, а я ничего не купил... на свой гонорар, ха-а-а-а-а... идиот я... ну, валенок...

Огонь дышал в них из зева печи, будто выдыхал: ха! ха!

Огонь тоже смеялся. С ними. Над ними.

Мария взяла лицо Федора в руки, как большую раковину.

И глядела в лицо, в глаза, как внутрь раковины: искала и видела драгоценность, светящуюся жемчужину.

– Везде деньги, – медленно истекали из нее слова. – Везде деньги... и обман. А мы...

Он взял в руку, в ладонь, как круглый перевернутый бокал, ее теплое колено.

– А мы, – перебил он ее, – не можем их заработать столько, чтобы – жить. А только – столько, чтобы – выжить. Мы же только выживаем, Машенька. Марусенок мой... Тепло как, жарко уже... Вспотеем... Два суслика...

Он поцеловал ее глаза – один, другой глаз.

Потом поцеловал ложбинку, впадину между грудями, куда не доходила хрустальная низка.

– Выпьем? – весело спросила Мария, и глаза ее весело, насквозь, как два дареных хрустала, просвечивал бешеный огонь.

### *ИЗ КАТАЛОГА Ф. Д. МИХАЙЛОВА:*

*«Картина мастера «Медвежий сон» заставляет вспомнить, с одной стороны, утонченные лирические пейзажи Камилля Коро, с другой – призрачные ретро-видения Борисова-Мусатова.*

*Тонкоствольные деревья тянутся к льющему сверху свету, нежно, податливо изгибаются, как стройные девичьи тела. Ветви-руки сплетаются, вытягиваются, раскидываются, пытаясь обнять ускользающее, невидимое Время. За деревьями плывут и тают нереальные холмы, похожие на очертания женских грудей, животов, плавно изогнутых бедер; это холмы-призраки, сама женская, первозданная плоть матери-Земли, на глазах становящаяся чистым, беспримесным духом. Вот это слияние плотского и духовного и удивляет в творчестве художника. В век торжества матери и победы жадного прагматизма над бескорыстной духовностью Михайлов имел мужество смотреть внутрь себя и изобразить на холстах Мир Невидимый».*

## ИНТЕРМЕДИЯ ГЛЯНЦЕВАЯ КАНЦОНА. БРОШКА НА КОШЕЧКУ

– Ну, фу! Неужели ты хочешь взять это говно! Я такое говно ни за что не взяла бы!

– Дорогая! Ты это ты, а я это я! Это совсем не говно!

– Ну-у-у, дорогая! Я тебе говорю – это говно, настоящее говно! Говнее не бывает!

Две очень красивых, очень богатых и очень знаменитых девушки стояли в очень модном бутике и покупали себе наряды.

На их голых локотках болтались сумочки, в сумочках лежала всякая ерунда, а еще – пластиковые карты. На картах лежали деньги. Ну, в том смысле, что деньги лежали в банке. Но на картах обозначалось, сколько денег в банке лежит.

Если бы вы поглядели на содержимое карты, вы бы обалдели от количества нулей в цифре, обозначающей деньги.

Или не обалдели бы, а выругались бы матом.

Ну и толку что в вашей ругани бессильной?

Откуда, откуда у красивых девчонок, просто – жительниц нашей страны, вот такие вот деньги? Ну откуда?! Никто не знает. Значит, девчонки-то не простые.

А какие?

А золотые.

– Эй!

Которая была белобрысая, с золотыми волосами, скрюченным пальцем подозвала продавщицу.

Продавщица подбежала услужливо, живенько: шутка ли, в их бутике сами эти! Ну, эти! Знаменитые!

– Слушаю вас!

Угодливо изогнула спину.

И как это человечек может так ловко, изящно прогибаться? Где там у него в спине хрящ? Позвонок лизоблюдства?

Еще и присела, полуприсела как-то, коленочки подогнула.

И правда, эта, золотая, на три головы выше ее была.

– Я беру это, хоть это и говно. – Золотая кинула на прилавок из-за шторки раздевалки стринги с вплетенными в них золотыми нитями. – Мне золотая прошивка нравится!

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.